Оноре де Бальзак
Гобсек

Барону Баршу де Пеноэн

Из всех бывших питомцев Вандомского колледжа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще, - недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда мам полагалось увлекаться только страницами De viris*. Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его.

Твой старый школьный товарищ

де Бальзак

Как-то раз зимою 1829/1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только ее брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет, подошла к дочери; девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжавшего кабриолета, что подтвердило опасения матери.

- Камилла, если ты и дальше будешь держать себя с графом де Ресто также, как нынче вечером, мне придется отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе, позволь мне руководить тобою в жизни. В семнадцать лет девушка не может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно

* De viris illustribus (лат.) (" О знаменитых мужах") - сочинение римского историка Корнелия Непота (I в. до н. э.).

обстоятельство: у господина де Ресто есть мать, женщина, способная проглотить миллионное состояние, особа низкого происхождения - в девичестве ее фамилия была Горио, и в молодости она вызвала много толков о себе. Она очень дурно относилась к своему отцу и, право, не заслуживает такого хорошего сына, как господин де Ресто. Молодой граф ее обожает и поддерживает с сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате! Словом, поведение его просто превосходно, но, добавила виконтесса с лукавым видом, - пока жива его мать, ни в одном порядочном семействе родители не отважатся доверить этому милому юноше будущность и приданое своей дочери.

- Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него! - воскликнул вышеупомянутый друг семьи.- Я выиграл, граф, - сказал он, обращаясь к партнеру.- Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице.

- Вот уж поистине слух настоящего стряпчего! - воскликнула виконтесса.Дорогой Дервиль, как вы могли расслышать, что я говорила Камилле? Я шепталась с нею совсем тихонько.

-- Я все понял по вашим глазам, - ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло,

Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а госпожа де Гранлье устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервилем.

- Пора мне, виконтесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто.

- Историю?! - воскликнула Камилла,- Скорей рассказывайте, господин Дервиль.

Стряпчий бросил на госпожу де Гранлье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для нее

интересен. Виконтесса де Гранлье по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье, и, конечно, может показаться

удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринужденно и держать себя в ее салоне запросто, но объяснить это очень легко. Госпожа де Гранлье, возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сумм цивильного листа,-положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправильности, допущенные в свое время Республикой при продаже особняка Гранлье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению виконтессе. По ее поручению он повел процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвращения ей лесных угодий в Лиснэ. Затем он утвердил ее в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала и довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние госпожи де Гранлье, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около шестидесяти тысяч франков годового дохода, а тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении госпожи де Гранлье он достиг почета и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложение виконтессы, уговаривавшей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство, где он мог бы при ее покровительстве чрезвычайно

быстро сделать карьеру. За исключением дома госпожи де Гранлье, где он иногда проводил вечера, он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы госпожи де Гранлье, показал и свое дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захиреть, в нем не было пронырливости истого стряпчего. С тех пор как граф Эрнест де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона госпожи де Гранлье, словно щеголь с Шоссе д'Антен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа:

- Жаль, что у этого юноши нет двух-трех миллионов! Правда?

- Почему жаль? Я не считаю это несчастьем, - ответила она. - Господин де Ресто - человек очень одаренный, образованный, на хорошем счету у министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда "этот юноша" окажется у власти, богатство само придет к нему в руки.

- Да, но вот если б он уже сейчас был богат!

- Если б он был богат?..- краснея, повторила Камилла.- Что ж, все танцующие здесь девицы оспаривали бы его друг у друга, -добавила она, указывая на участниц кадрили.

- И тогда, - заметил стряпчий, - мадемуазель де Гранлье не была бы единственным магнитом, притягивающим его взоры. Вы, кажется, покраснели, почему бы это? Вы к нему неравнодушны? Ну, скажите...

Камилла вспорхнула с кресла.

"Она влюблена в него", - подумал Дервиль.

С этого дня Камилла выказывала стряпчему особое внимание, поняв, что Дервиль одобряет ее склонность к Эрнесту де Ресто. А до тех пор, хотя ей и было известно, что ее семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении ее с ним сквозило больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то, указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность - это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.

Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:

- Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романической истории, единственной в моей жизни... Ну вот, вы уж и смеетесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть

какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать, - речь идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью - пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних

стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью,-совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля, он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала также бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди - человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости, - право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном, сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный коридор с маленькими оконцами. Да, это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, еще раньше, чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать друг другу - совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое, по причине безденежья, во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной

наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.

- Это не моя! - воскликнул он, замахав рукой.- Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат!

По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина; обед ему приносили из ресторации. Старуха-привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная - Гобсек. Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти семьдесят шесть лет. Он родился в 1740 году, в предместье Антверпена; мать у него была еврейка, отец - голландец, полное его имя было Жан-Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины, прозванной "Прекрасная Голландка". Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления:

- Это моя внучатая племянница.

Только эти слова и вызвала у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судебном разбирательстве я узнал, что Прекрасную Голландку звали Сарра ван Гобсек. Когда я попросил Гобсека объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь:

- В нашем роду женщины никогда не выходили замуж.

Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырех женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Мать пристроила его юнгой на корабль, и в десятилетнем возрасте он отплыл в голландские владения Ост-Индии, где и скитался двадцать лет. Морщины его

желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней, попранной любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Он знал господина де Лалли, адмирала Симеза, господина де Кергаруэта и д'Эстена, байи де Сюфрена, господина де Портандюэра, лорда Корнуэл-са, лорда Гастингса, отца Типпо-Саиба и самого Типпо-Саиба. С ним вел дела тот савояр, что служил в Дели радже Махаджи-Синдиаху и был пособником могущества династии Махараттов. Были у него какие-то связи и с Виктором Юзом и другими знаменитыми корсарами, так как он долго жил на острове Сен-Тома. Он все перепробовал, чтобы разбогатеть, даже пытался разыскать пресловутый клад золото, зарытое племенем дикарей где-то в окрестностях Буэнос-Айреса. Он имел отношение ко всем перипетиям войны за независимость Соединенных Штатов. Но об Индии или об Америке он говорил только со мною, и то очень редко, и всякий раз после этого как будто раскаивался в своей "болтливости". Если человечность, общение меж людьми считать своего рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом. Хотя я поставил себе целью изучить его, должен, к стыду своему, признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками. Иной раз я даже спрашивал себя, какого он пола. Если все ростовщики похожи на него, то они, верно, принадлежат к разряду бесполых. Остался ли он верен религии своей матери и смотрел ли на христиан как на добычу? Стал ли католиком, магометанином, последователем брахманизма, лютеранином? Я ничего не знал о его верованиях. Он казался скорее равнодушным к вопросам религии, чем неверующим. Однажды вечером я зашел к этому человеку, обратившемуся в золотого истукана и прозванному его жертвами в насмешку или по контрасту "папаша Гобсек*". Он, по обыкновению, сидел в глубоком кресле, неподвижный, как статуя, вперив глаза в выступ камина, словно перечитывал свои учетные квитанции и расписки. Коптящая лампа на зеленой облезлой подставке бросала свет на его лицо, но от этого оно нисколько не

оживлялось красками, а казалось еще бледнее. Старик поглядел на меня и молча указал рукой на мой привычный стул.

"О чем думает это существо? - спрашивал я себя.- Знает ли он, что есть в мире бог, чувства, любовь, счастье?" И мне даже как-то стало жаль его, точно он был тяжко болен. Однако я прекрасно понимал, что если у него есть миллионы в банке, то в мыслях он мог владеть всеми странами, которые исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил.

- Здравствуйте, папаша Гобсек, - сказал я.

Он повернул голову, и его густые черные брови чуть шевельнулись, - это характерное для него движение было равносильно самой приветливой улыбке южанина.

- Вы что-то хмуритесь сегодня, как в тот день, когда получили известие о банкротстве книгоиздателя, которого вы хвалили за ловкость, хотя и оказались его жертвой.

- Жертвой? - удивленно переспросил он.

- А помните, он добился полюбовной сделки с вами, переписал свои векселя на основании устава о неплатежеспособности, а когда его дела поправились, потребовал, чтобы вы скостили ему долг по этому соглашению.

- Да, он хитер был, - подтвердил старик.- Но я его потом опять прищемил.

*Г о б с е к (голл.) - живоглот.

- Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Кажется, сегодня тридцатое число.

Я в первый раз заговорил с ним о деньгах. Он вскинул на меня глаза и как-то насмешливо шевельнул бровями, а затем пискливым тихим голоском, очень похожим на звук флейты в руках неумелого музыканта, произнес:

- Я развлекаюсь.

- Так вы иногда и развлекаетесь?

- А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи? - спросил он, пожав плечами и презрительно сощурившись.

"Поэзия? В такой голове?" - удивился я, так как еще ничего не знал тогда о его жизни.

-А у кого жизнь может быть такой блистательной, как у меня? - сказал он, и взгляд его загорелся, - Вы молоды, кровь у вас играет, а в голове от этого туман. Вы глядите на горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица, а я вижу только угли. Вы всему верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии, если можете. Я вам сейчас подведу итог человеческой жизни. Будь вы бродягой-путешественником, будь вы домоседом и не расставайтесь весь век со своим камельком да со своей супругой, все равно приходит возраст, когда вся жизнь-только привычка к излюбленной среде. И тогда счастье состоит в упражнении своих способностей применительно к житейской действительности. А кроме этих двух правил, все остальные фальшь. У меня вот принципы менялись сообразно обстоятельствам, приходилось менять их в зависимости от географических широт. То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей применялся ко всем общественным

меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения - пустые слова. Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом. Вот поживете с мое, узнаете, что из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним, Это... золото. В золоте сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть равнины и горы. Равнины надоедают, горы утомляют; словом, в каком месте жить - это значения не имеет. А что касается нравов - человек везде одинаков: везде идет борьба между бедными и богатыми, везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Повсюду мускулистые люди трудятся, а худосочные мучаются. Да и наслаждения повсюду одни и те же, и повсюду они одинаково истощают силы;

переживает все наслаждения только одна утеха -тщеславие. Тщеславие! Это всегда наше "я". А что может удовлетворить тщеславие? Золото! Потоки золота. Чтобы осуществить наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности или усилия. Ну что ж! В золоте все содержится в зародыше, и все оно дает в действительности.

Одни только безумцы да больные люди могут находить свое счастье в том, чтобы убивать все вечера за картами в надежде выиграть несколько су. Только дураки могут тратить время на размышления о самых обыденных делах-возляжет ли такая-то дама на диван одна или в приятном обществе и чего у ней больше: крови или лимфы, темперамента или добродетели? Только простофили могут воображать, что они приносят пользу ближнему, занимаясь установлением принципов политики, чтобы управлять событиями, которых никогда нельзя предвидеть. Только олухам может быть приятно болтать об актерах и повторять их остроты, каждый день кружиться на прогулках, как звери в клетках, разве лишь на пространстве чуть побольше; рядиться ради других, задавать пиры ради других, похваляться чистокровной лошадью или новомодной коляской, которую посчастливилось купить на целых три дня раньше, чем соседу. Вот вам вся жизнь ваших парижан, вся она укладывается в эти несколько фраз. Верно? Но взгляните на существование человека с той высоты, на какую им не подняться. В чем счастье? Это или сильные волнения, подтачивающие нашу жизнь, или размеренные занятия, которые превращают ее в некое подобие хорошо отрегулированного английского механизма. Выше этого счастья стоит так называемая "благородная" любознательность, стремление проникнуть в тайны природы и добиться известных результатов, воспроизводя ее явления. Вот вам в двух словах искусство и наука, страсть и спокойствие. Верно? Так вот, все человеческие страсти, распаленные столкновением интересов в нынешнем вашем обществе, проходят передо мною, и я произвожу им смотр, а сам живу в спокойствии. Научную вашу любознательность, своего рода поединок, в котором человек всегда бывает повержен, я заменяю проникновением во все побудительные причины, которые движут человечеством. Словом, я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мною ни малейшей власти.

Да вот послушайте, - заговорил он, помолчав, - я расскажу вам две истории, случившиеся сегодня утром на моих глазах, и вы поймете, в чем мои утехи.

Он поднялся, заложил дверь засовом, подошел к окну, задернул старый ковровый занавес, кольца которого взвизгнули, скользнув по металлическому пруту, и снова сел в кресло.

- Нынче утром, - сказал он, - мне надо было предъявить должникам два векселя - остальные я еще вчера пустил в ход при расчетах по своим операциям. И то барыш! Ведь при учете я сбрасываю с платежной суммы расходы по взиманию долга и ставлю по сорок су на извозчика, хотя и не думал его нанимать. Разве не забавно, что из-за каких-нибудь шести франков учетного процента я бегу через весь Париж? Это я-то! Человек, который никому не подвластен и платит налога всего семь франков. Первый вексель, на тысячу франков, учел у меня молодой человек, писаный красавец и щеголь: у него жилетка с искрой, у него и лорнет, и тильбюри, и английская лошадь, и тому подобное. А выдан был вексель женщиной, одной из самых прелестных парижанок, женой какого-то богатого помещика и вдобавок графа. Почему же ее сиятельство графиня подписала вексель, юридически недействительный, но практически вполне надежный? Ведь эти жалкие женщины, светские дамы, до того боятся семейных скандалов в случае протеста векселя, что готовы бывают расплатиться собственной своей особой, коли не могут заплатить деньгами. Мне захотел ось узнать тайную цену этого векселя. Что тут скрывается: глупость, опрометчивость, любовь или сострадание? Второй вексель на такую же сумму, подписанный некоей Фанни Мальво, учел у меня купец, торгующий полотном, верный кандидат в банкроты. Ведь ни один человек, если у него еще есть хоть самый малый кредит в банке, не придет в мою лавочку: первый же его шаг от порога моей комнаты к моему письменному столу изобличает отчаяние, тщетные поиски ссуды у всех банкиров и надвигающийся крах. Я вижу у себя только затравленных оленей, за которыми гонится целая свора заимодавцев. Графиня живет

на Гельдерской улице, а Фанни Мальво- на улице Монмартр. Сколько догадок я строил, когда выходил нынче утром из дому!

Если у этих двух женщин нечем заплатить, они, конечно, примут меня ласковей, чем отца родного. Уж как графиня начнет фокусничать, какую будет комедию ломать из-за тысячи франков! Приветливо заулыбается, заговорит вкрадчивым, нежным голоском, каким любезничает с тем молодчиком, на чье имя выдан вексель, пожалуй, будет даже умолять меня! А я...- Старик бросил на меня холодный взгляд.-А я непоколебим! - сказал он. - Я появляюсь как возмездие, как укор совести... Ну, оставим мои догадки. Прихожу.

"Графиня еще не вставала", -заявляет мне горничная.

"Когда ее можно видеть?"

"Не раньше двенадцати".

"Что же, графиня больна?"

"Нет, сударь, она вернулась с бала в три часа утра".

"Моя фамилия Гобсек. Доложите, что приходил Гобсек. Я еще раз зайду в полдень".

И я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшем мраморные ступени. Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей - не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать когтистую лапу Неотвратимости. Прихожу на улицу Монмартр, в неказистый дом, отворяю ветхую калитку в воротах, вижу двор - настоящий колодец, куда никогда не заглядывает солнце. В каморке привратницы темно, стекло в огне грязное, как измызганный, засаленный рукав теплого халата, да еще все в трещинах.

"Здесь живет мадемуазель Фанни Мальво?"

"Живет, только ее сейчас нет дома. Но если вы насчет векселя, то она оставила для вас деньги".

"Я зайду попозже", - сказал я.

Деньги оставлены у привратницы - прекрасно, но мне любопытно посмотреть на самое должницу. Мне почему-то казалось, что это хорошенькая вертихвостка. Ну вот. Утро я провел на бульваре, рассматривал гравюры в окнах магазинов. Но ровно в полдень я уже проходил по гостиной, смежной со спальней графини.

"Барыня только что позвонила, -заявила мне горничная.- Не думаю, чтобы она сейчас приняла вас".

"Я подожду", - ответил я и уселся в кресло.

Открываются жалюзи, прибегает горничная.

"Пожалуйте, сударь".

По сладкому голоску горничной я понял, что хозяйке заплатить нечем, Зато какую же я красавицу тут увидел! В спешке она только накинула на обнаженные плечи кашемировую шаль и куталась в нее так искусно, что под этим покровом вырисовывалась вся ее статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным рюшем,- значит, не меньше двух тысяч франков в год уходило на прачку, мастерицу по стирке тонкого белья. Голова ее была небрежно повязана, как у креолки, пестрым шелковым платком, а из-под него выбивались крупные черные локоны. Раскрытая постель была смята, и беспорядок ее говорил о тревожном сне. Художник дорого бы дал, чтобы побыть хоть несколько минут в спальне моей должницы в это утро. Складки занавесей у кровати дышали сладострастной негой, сбитая простыня на голубом шелковом пуховике, смятая подушка, резко белевшая на этом лазурном фоне кружевными своими оборками, казалось, еще сохраняли неясный отпечаток дивных форм, дразнивший воображение. На медвежьей шкуре, разостланной у бронзовых львов, поддерживающих кровать красного дерева, блестел атлас белых туфелек, небрежно сброшенных усталой женщиной по возвращении с бала. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвились прозрачные чулки, которые унесло бы дуновение ветерка. По диванчику протянулись белые шелковые подвязки. На камине переливались блестки полураскрытого дорогого веера. Ящики комода остались не задвинутыми. По всей комнате раскиданы были цветы,

бриллианты, перчатки, букет, пояс и прочие принадлежности бального наряда. Пахло какими-то тонкими духами. Во всем была красота, лишенная гармонии, роскошь и беспорядок. И уже нищета, грозившая этой женщине или ее возлюбленному, притаившаяся за всей этой роскошью, поднимала голову и казала им свои острые зубы. Утомленное лицо графини было под стать всей ее опочивальне, усеянной приметами минувшего празднества.

Разбросанные повсюду безделушки вызвали во мне чувство жалости: еще вчера все они были ее убором и кто-то восторгался ими. И все они сливались в образ любви, отравленной угрызениями совести, в образ рассеянной жизни, роскоши, шумной суеты и выдавали танталовы усилия поймать ускользающие наслаждения. Красные пятна, проступившие на щеках этой молодой женщины, свидетельствовали лишь о нежности ее кожи, но лицо ее как будто припухло, темные тени под глазами, казалось, обозначились резче обычного. И все же природная энергия била в ней ключом, а все эти признаки безрассудной жизни не портили ее красоты. Глаза ее сверкали, она была великолепна: она напоминала одну из прекрасных Иродиад кисти Леонардо да Винчи (я ведь когда-то перепродавал картины старых мастеров), от нее веяло жизнью и силой. Ничего не было хилого, жалкого ни в линиях ее стана, ни в ее чертах: она, несомненно, должна была внушать любовь, но сама, казалось, была сильнее любви. Словом, эта женщина понравилась мне. Давно мое сердце так не билось. А значит, я уже получил плату. Я сам отдал бы тысячу франков за то, чтобы вновь изведать ощущения, напоминающие мне дни молодости.

"Сударь, - сказала она, предложив мне сесть, - не будете ли вы так любезны немного отсрочить платеж?"

"До полудня следующего дня, графиня, - сказал я, складывая вексель, который предъявил ей.- До этого срока я не имею права опротестовать ваш вексель".

А мысленно я говорил ей: "Плати за всю эту роскошь, плати за свой титул, плати за свое счастье, за все исключительные преимущества, которыми ты пользуешься. Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы, судей, гильотину, к которой, как мотыльки на гибельный огонь, сами устремляются, глупцы. Но для вас, для людей, которые спят на шелку и шелком укрываются, существует кое-что иное: укоры совести, скрежет зубовный, скрываемый улыбкой, химеры с львиной пастью, вонзающие свои клыки вам в сердце".

"Опротестовать вексель? Неужели вы решитесь? - воскликнула она, вперив в меня взгляд.-Неужели вы так мало уважаете меня?"

"Если бы сам король был мне должен, графиня, и не уплатил бы в срок, я бы подал на него в суд еще скорее, чем на всякого другого должника".

В эту минуту кто-то тихо постучал в дверь.

"Меня нет дома!" - властно крикнула графиня.

"Анастази, это я, Мне нужно поговорить с вами".

"Попозже, дорогой",-ответила она уже менее резким тоном, но все же отнюдь не ласково.

"Что за шутки! Ведь вы с кем-то разговариваете", - отозвался голос, и в комнату вошел мужчина, - несомненно, сам граф.

Графиня на меня взглянула, я понял ее, - она стала моей рабой. Было время, юноша, когда я по глупости иной раз не опротестовывал векселей. В 1763 году в Пондишери я пощадил одну женщину, и что же! Здорово она меня общипала! Поделом мне, - зачем я ей доверился?

"Что вам угодно, сударь?." - спросил меня граф. И тут я вдруг заметил, что его жена вся дрожит мелкой дрожью и белая атласная шея пошла у нее пупырышками

- как говорится, покрылась гусиной кожей. А я смеялся в душе, но ни один мускул на лице у меня не шевельнулся.

"Это один из моих поставщиков", - сказала графиня.

Граф повернулся ко мне спиной, а я вытащил из кармана угол сложенного векселя. Увидев этот беспощадный жест, молодая женщина подошла ко мне и подала мне бриллиант.

"Возьмите, - сказала она. - И скорее уходите".

В обмен на бриллиант я отдал вексель и, поклонившись, вышел. На мой взгляд, бриллиант стоил верных тысячу двести франков. На графском дворе я увидел толпу всякой челяди - лакеи чистили щетками свои ливрейные фраки, наводили глянец на сапоги, конюхи мыли роскошные экипажи. Вот что гонит ко мне знатных господ. Вот что заставляет их пристойным образом красть миллионы, продавать свою родину! Чтобы не запачкать лакированных сапожек, расхаживая пешком, важный барин и всякий, кто силится подражать ему, готовы с головой окунуться в грязь. Как раз тут ворота распахнулись, и въехал в кабриолете тот самый молодой щеголь, который учел у меня вексель графини.

"Сударь, - сказал я, когда он выскочил из кабриолета,

- вот двести франков, передайте их, пожалуйста, графине и скажите ей, что заклад, который она мне дала, я немного придержу и недельку он будет в моем распоряжении".

Щеголь взял двести франков, и по губам его скользнула насмешливая улыбка, говорившая: "Ага, заплатила! Ну что ж, отлично!" И я прочел на его лице всю будущность графини. Этот белокурый красавчик, холодный, бездушный игрок, разорится сам, разорит ее, разорит ее мужа, разорит детей, промотав их наследство, да и в

других салонах учинит разгром почище, чем артиллерийская батарея в неприятельских войсках.

Затем я отправился на улицу Монмартр к мадемуазель Фанни Я поднялся по узкой крутой лестнице на шестой этаж. Меня впустили в квартирку из двух комнат, где все сверкало чистотой, блестело, как новенький дукат; ни пылинки не было на мебели в первой комнате, где меня приняла хозяйка, мадемуазель Фанни, молоденькая девушка, одетая просто, но с изяществом парижанки; у нее была грациозная головка, свежее личико и приветливый вид; каштановые, красиво зачесанные волосы, спускаясь двумя гладкими полукружиями, прикрывали виски, и это сообщало какое-то тонкое выражение ее голубым глазам, чистым, как кристалл. Солнце, пробиваясь сквозь занавесочки на окнах, озаряло мягким светом весь ее скромный облик. Вокруг нее стопками лежали раскроенные куски полотна, и я понял, чем она зарабатывала на жизнь: она, конечно, была белошвейкой. Эта девушка казалась феей одиночества.

Я протянул ей вексель и сказал, что приходил утром, но не застал ее.

"А ведь деньги были у привратницы", - сказала она.

Я притворился, что не расслышал.

"Вы, как видно, рано выходите из дому".

"Вообще я очень редко куда выхожу, но, знаете, когда всю ночь просидишь за работой, хочется пойти искупаться".

Я посмотрел повнимательней и с первого взгляда разгадал ее. Передо мной, несомненно, была девушка, которую нужда заставляла трудиться, не разгибая спины, - вероятно, дочь какого-нибудь честного фермера: на лице ее еще виднелись мелкие веснушки, свойственные крестьянским девушкам. От нее веяло чем-то хорошим, по-настоящему добродетельным, Я как будто вступил в атмосферу искренности, чистоты душевной, и мне

даже как-то стало легче дышать. Бедная простушка! Она во что-то верила: над изголовьем ее немудреной деревянной кровати висело распятие, украшенное двумя веточками букса. Я почти умилился. Я готов был предложить ей денег взаймы всего лишь из двенадцати процентов, чтобы помочь ей купить какое-нибудь прибыльное дело. "Ну нет! - образумил я себя. - У нее, пожалуй, есть молодой двоюродный братец, который заставит ее подписывать векселя и обчистит бедняжку". С тем я и ушел, предостерегая себя от великодушных порывов: ведь мне частенько приходилось наблюдать, что если самому благодетелю и не вредит благодеяние, то для того, кому оно оказано, подобная милость бывает гибельной. Когда вы вошли сегодня в мою комнату, я как раз думал о Фанни Мальво - вот из кого вышла бы хорошая жена, мать семейства. Сравнить только чистую одинокую жизнь девушки с жизнью богатой графини, которая уже принялась подписывать векселя и скоро скатится на самое дно всяческих пороков!

Задумавшись, он молчал с минуту, я же в это время разглядывал его.

- А ну-ка скажите, - вдруг промолвил он, - разве плохие у меня развлечения? Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть ее без прикрас, во всей неприкрытой наготе? Каких только картин не насмотришься! Тут и мерзкие язвы и неутешное горе, тут любовные страсти, нищета, которую подстерегают воды Сены, наслаждение юноши - роковые ступени, ведущие к эшафоту, смех отчаяния и пышные празднества. Сегодня видишь трагедию: какой-нибудь честный труженик, отец семейства, покончил с собою, оттого что не мог прокормить своих детей. Завтра смотришь комедию: молодой бездельник пытается разыграть перед тобою современный вариант классической сцены обольщения Диманша его должником! Вы, конечно, читали о хваленом красноречии новоявленных добрых пастырей прошлого века? Я иной раз тратил время, ходил их послушать. Им удавалось кое в чем повлиять на мои взгляды, но повлиять на мое поведение - никогда! - как выразился кто-то. Так знайте же, все эти ваши прославленные проповедники, всякие там Мирабо, Верньо и прочие, - просто-напросто жалкие заики по сравнению с моими повседневными ораторами. Какая-нибудь влюбленная молодая девица, старик купец, стоящий на пороге разорения, мать, пытающаяся скрыть проступок сына, художник без куска хлеба, вельможа, который впал в немилость и, того и гляди, из-за безденежья потеряет плоды своих долгих усилий, - все эти люди иной раз изумляют меня силой своего слова. Великолепные актеры! И дают они представление для меня одного! Но обмануть меня им никогда не удается. У меня взор, как у господа бога: я читаю в сердцах. От меня ничто не укроется. А разве могут отказать в чем-либо тому, у кого в руках мешок с золотом? Я достаточно богат, чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными министрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служителей и кончая любовницами. Это ли не власть? Я могу, если пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать нежнейшие ласки. Это ли не наслаждение? А разве власть и наслаждение не представляют собою сущности вашего нового общественного строя? Таких, как я, в Париже человек десять; мы властители ваших судеб - тихонькие, никому неведомые. Что такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги? Помните, что средства к действию сливаются с его результатами: никогда не удастся разграничить душу и плотские чувства, дух и материю. Золото-вот духовная сущность всего нынешнего общества. Я и мои собратья, связанные со мною общими интересами, в определенные дни недели встречаемся в кафе "Фемида" возле Нового моста. Там мы беседуем, открываем друг другу финансовые тайны. Ни одно самое большое состояние не введет нас в обман, мы владеем секретами всех видных семейств. У нас есть своего рода "черная книга", куда мы заносим сведения о государственном кредите, о банках, о торговле. В качестве духовников биржи мы образуем, так сказать, трибунал священной инквизиции, анализируем самые на вид безобидные поступки состоятельных людей и всегда угадываем верно. Один из нас надзирает за судейской средой, другой-за финансовой, третий -за высшим чиновничеством, четвертый - за коммерсантами. А под моим надзором находится золотая молодежь, актеры и художники, светские люди, игроки - самая занятная часть парижского общества. И каждый нам рассказывает о тайнах своих соседей. Обманутые страсти, уязвленное тщеславие болтливы. Пороки, разочарование, месть -лучшие агенты полиции. Как и я, мои собратья всем насладились, всем пресытились и любят теперь только власть и деньги ради самого обладания властью и деньгами. - Вот здесь, - сказал он, поведя рукой, - в этой холодной комнате с голыми стенами, самый пылкий любовник, который во всяком другом месте вскипит из-за малейшего намека, вызовет на дуэль из-за острого словечка, молит меня, как бога, смиренно прижимая руки к груди. Проливая слезы бешеной ненависти или скорби, молит меня и самый спесивый купец, и самая надменная красавица, и самый гордый военный. Сюда приходит с мольбою и знаменитый художник и писатель, чье имя будет жить в памяти потомков. А вот здесь,-добавил он, прижимая палец ко лбу, - здесь у меня весы, на которых взвешиваются наследства и корыстные интересы всего Парижа. Ну как вам кажется теперь, - сказал он, повернувшись ко мне

бледным своим лицом, будто вылитым из серебра, - не таятся ли жгучие наслаждения за этой холодной, застывшей маской, так часто удивлявшей вас своей неподвижностью?

Я вернулся к себе в комнату совершенно ошеломленным. Этот высохший старикашка вдруг вырос в моих глазах, стал фантастической фигурой, олицетворением власти золота. Жизнь и люди внушали мне в эту минуту ужас.

"Да неужели все сводится к деньгам?" - думал я,

Помнится, я долго не мог заснуть. Мне все мерещились вокруг груды золота. Да и красавица графиня очень занимала меня. Должен признаться, к стыду моему, что она совсем затмила образ Фанни Мальво, простодушного, чистого создания, обреченного на труд и безвестность. Но утром, в туманных грезах пробуждения, милый девический образ сразу возник передо мной во всей прелести, и я уже думал только о Фанни...

- Не хотите ли выпить стакан воды с сахаром? - спросила госпожа Гранлье, прервав Дервиля.

- С удовольствием, - ответил он.

- Знаете, я не вижу, какое отношение к нам имеет вся эта история, заметила госпожа Гранлье, позвонив в колокольчик.

- Гром и молния! - воскликнул Дервиль, употребив любимое свое выражение.-Я сейчас сразу прогоню сон от глаз мадемуазель Камиллы - пусть она знает, что ее счастье совсем еще недавно зависело от папаши Гобсека. Но так как старик на днях умер, дожив до восьмидесяти девяти лет, господин де Ресто скоро вступит во владение превосходным состоянием. Как и почему-это надо объяснить. А что касается Фанни Мальво, то вы ее хорошо знаете. Это моя жена.

-Друг мой, - заметила виконтесса де Гранлье, - вы, со свойственной вам откровенностью, пожалуй, признаетесь в этом при двадцати свидетелях!

- Да я готов крикнуть это всему миру! - заявил стряпчий.

- Вот вода с сахаром, пейте, милый мой Дервиль. Никогда вы ничего не достигнете, зато будете счастливейшим и лучшим из людей.

- Я немножко потерял нить, - сказал вдруг брат виконтессы, пробуждаясь от сладкой дремоты.-Так вы, значит, были у какой-то графини на Гельдерской улице. Что вы там делали?

- Через несколько дней после моего разговора со стариком голландцем, продолжал свой рассказ Дервиль, - я защитил диссертацию, получил степень лиценциата прав, затем был зачислен в коллегию стряпчих. Доверие ко мне старого скряги Гобсека очень возросло. Он даже обращался ко мне за советами по разным своим рискованным аферам, в которые смело пускался, собрав точные сведения, хотя даже самый искушенный делец счел бы их опасными. К удивлению моему, этот человек, на которого никто ни в чем не мог повлиять, выслушивал мои советы с какой-то почтительностью. Правда, они всегда шли ему на пользу. Но вот, проработав три года в конторе стряпчего, я получил там должность старшего клерка и переехал с улицы де-Грэ, так как мой патрон, помимо ста пятидесяти франков жалованья в месяц, давал мне теперь еще стол и квартиру. Какой это был счастливый день для меня! Когда я зашел к старому ростовщику проститься, он не сказал мне ни одного дружеского слова, не выразил никакого сожаления, не пригласил бывать у него, а только бросил на меня взгляд, свой удивительный, необыкновенный взгляд, по которому можно было подумать, что он обладает даром ясновидения. Однако неделю спустя старик сам навестил меня, принес запутанное дело об отчуждении земельного участка и с тех пор по-прежнему стал пользоваться моими безвозмездными советами с такою непринужденностью, как будто платил за них. В конце второго, 1818-1819 года, зимою, мой патрон, большой кутила и расточитель, оказался в стесненных обстоятельствах, вынуждавших его продать контору. Хотя в те времена цены на патент стряпчего не достигали таких баснословных сумм, как теперь, он запросил за свое заведение немало - сто пятьдесят тысяч франков. Если б деятельному, знающему и толковому стряпчему доверили такую сумму на покупку этой конторы, он мог бы прилично жить на доходы от нее, уплачивать проценты и за десять лет

расквитаться с долгом. Но у меня гроша за душой не было, так как отец у меня мелкий провинциальный буржуа. Я седьмой по счету в нашей семье, а из всех капиталистов в мире я был близко знаком только с Гобсеком... Но, представьте, честолюбивое желание и какой-то слабый луч надежды внушили мне дерзкую мысль обратиться к нему. И вот однажды вечером я медленным шагом направился на улицу де-Грэ. Сердце у меня сильно билось, когда я постучался в двери хорошо мне знакомого угрюмого дома. Мне вспомнилось все, что я слышал от старого скряги в ту пору, когда я и не подозревал, какая мучительная тревога терзает людей, переступающих порог его жилища. А вот теперь я иду проторенной ими дорожкой и буду так же просить, как они. "Ну нет, - решил я, - честный человек должен всегда и везде сохранять свое достоинство. Унижаться из-за денег не стоит. Покажу себя таким же практичным, как он".

Когда я съехал с квартиры, папаша Гобсек снял мою комнату, чтобы избавиться от соседей, и велел в своей двери прорезать решетчатое окошечко; меня он впустил только после того, как разглядел в это окошечко мое лицо.

- Что ж, - сказал он пискливым голоском, - ваш патрон продает контору?

- Откуда вы знаете? Он никому не говорил об этом, кроме меня.

Губы старика раздвинулись, и в углах рта собрались складки, как на оконных занавесках, но его немую усмешку сопровождал холодный взгляд.

-Только этому я и обязан честью видеть вас у себя, -- добавил он сухим тоном и умолк. Я сидел как потерянный.

- Выслушайте меня, папаша Гобсек, - заговорил я наконец, изо всех сил стараясь говорить спокойно, хотя бесстрастный взгляд этого старика, не сводившего с меня светлых блестящих глаз, смущал меня.

Он сделал жест, означавший: "Говорите!"

- Я знаю, что растрогать вас очень трудно. Поэтому я не стану тратить красноречия, пытаясь изобразить вам положение нищего клерка, у которого вся надежда только на вас, так как в целом мире ему не найти близкую душу, которой небезразлична его будущность. Но оставим близкие души в покое, дела решаются по-деловому, без чувствительных излияний и всяких нежностей. Положение дел вот какое. Моему патрону контора приносит двадцать тысяч дохода в год; но я думаю, что в моих руках она будет давать сорок тысяч. Я чувствую: вот тут есть кое-что, - сказал я, постучав себя пальцем по лбу, и если бы вы согласились ссудить мне сто пятьдесят тысяч, необходимые для покупки конторы, я в десять лет расплатился бы с вами.

- Умные речи! - сказал Гобсек и наградил меня рукопожатием.-Никогда еще с тех пор, как я веду дела, ни один человек так ясно не излагал мне цели своего посещения. А какие гарантии? - спросил он, смерив меня взглядом, и тут же сам себе ответил: - Никаких, Сколько вам лет?

- Через десять дней исполнится двадцать пять, Иначе я бы не мог заключать договоры.

- Правильно.

- Ну, так как же?

- Пожалуй !

- Правда? Тогда надо все поскорее устроить, иначе перебьют, дадут дороже.

- Завтра утром принесите метрическую выпись, и мы поговорим о вашем деле. Я подумаю.

Утром, в восемь часов, я уже был у старика. Он взял у меня метрику, надел очки, откашлялся, сплюнул, закутался поплотнее в черную свою крылатку и внимательно прочел всю метрическую выпись, от первого до последнего слова, повертел ее в руках, поглядел на меня опять, покашлял, заерзал на стуле и сказал:

- Ну что ж, давайте торговаться. Я затрепетал.

- Я беру за кредит по-разному, - сказал он, - самое меньшее - пятьдесят процентов, сто, двести, а когда и пятьсот.

Я побледнел.

- Ну, а с вас по знакомству я возьму только двенадцать с половиной процентов... - Он замялся. - Нет, не так, - с вас я возьму тринадцать процентов в год. Подойдет вам?

- Подойдет, - ответил я.

- Смотрите. Если много, защищайтесь, Гроций* (он иногда в шутку называл меня Гроцием). Я с вас прошу тринадцать процентов - такое уж мое ремесло. Прикиньте: под силу вам столько платить? Я не люблю, когда человек сразу сдается. Еще раз спрашиваю: не много ль это?

- Нет, - ответил я.- Я расплачусь, придется только приналечь на работу.

-Гроций Гуго (1583 - 1645) - голландский юрист и реакционный государственный деятель, был провозглашен "отцом международного права".

- Вот оно что! - заметил Гобсек, поглядывая на меня искоса лукавым взглядом.- Значит, клиенты расплатятся?

- Ну нет, черт возьми! - воскликнул я. - Сам расплачусь. Я скорее дам себе руку отрубить, чем стану грабить людей.

- До свидания, - сказал Гобсек.

- Гонорар я буду брать по таксе.

- Таксы нет на некоторые дела - например, на получение отсрочек по платежам, на полюбовные соглашения. Тут можно брать по две, по три тысячи франков, а то и по шести тысяч, в зависимости от важности дела, да еще за переговоры, за разъезды, за составление актов, всяких выписок и за говорильню в суде. Надо только уметь находить такие дела. Я вас буду рекомендовать как очень знающего и толкового стряпчего, стану посылать к вам клиентов, и они понатащят к вам столько судебных исков, что ваша адвокатская братия лопнет от зависти. Мои коллеги, Вербруст, Пальма, Жигонне, поручат вам вести дела об отчуждении земельных участков, а у них таких дел уйма. Значит, у вас будут две клиентуры: одна по наследству от вашего патрона, другую предоставлю вам я. Пожалуй, надо бы взять с вас пятнадцать процентов годовых, я ведь вам полтораста тысяч даю.

- Хорошо, пусть будет так, но не больше, - сказал я с твердостью, желая показать, что это предел и что дальше я не пойду.

Гобсек смягчился - он, видимо, был доволен мной.

- За контору я сам уплачу вашему патрону, - сказал он, - я постараюсь добиться солидной скидки и с цены и с суммы залога.

- Пожалуйста. Обеспечьте себя какими угодно гарантиями.

-А вы мне выдадите после этого пятнадцать векселей, каждый на десять тысяч франков.

- Только надо зарегистрировать эту двойную сделку и...

-Нет!-сердито воскликнул Гобсек, прерывая меня.- Почему я должен доверять вам больше, чем вы мне? Я промолчал.

-А сверх процентов, -добавил он уже благодушным тоном, - вы будете бесплатно, пока я жив, вести мои дела. Хорошо?

- Согласен, но никаких расходов из своих средств производить я не буду.

- Правильно! - сказал Гобсек.- А кстати, - добавил он с необычным для него ласковым выражением лица, - вы позволите мне навещать вас?

- Всегда буду рад вас видеть.

-Только, знаете, утром это и вам и мне неудобно: у вас свои дела, у меня свои.

- Приходите по вечерам,

- Нет, это тоже не годится, -живо возразил он.- Вам надо бывать в обществе, встречаться с клиентами. А у меня есть приятели, мы проводим вечера в кафе.

"Приятели? Неужели?" - подумал я и сказал:

- Знаете что? Будем встречаться за обедом.

- Превосходно! - одобрил Гобсек. - После биржи, в пять часов. Условимся так: я буду приходить к вам два раза в неделю - по средам и субботам. Мы будем беседовать о делах, как друзья! Ого! Я иной раз бываю в веселом расположении духа. Вы угостите меня крылышком куропатки, бокалом шампанского, и мы с вами поболтаем. У меня в запасе уйма

занимательных историй, о которых теперь уже можно рассказывать, и вы из них многому научитесь, узнаете людей, особенно женщин.

- Идет! Куропатка и шампанское.

- Смотрите не роскошествуйте, а то лишитесь моего доверия. Не вздумайте поставить дом на широкую ногу. Наймите старуху кухарку, вот и вся прислуга. Я буду

навещать вас, узнавать, в добром ли вы здоровье. Ведь я вложу в вас целый капитал! Хе-хе! Надо же мне, конечно, знать, как идут ваши дела. Ну, до свидания. Приходите под вечер с вашим патроном.

- Разрешите спросить, если вы не сочтете это нескромным любопытством, сказал я старику, когда он проводил меня до порога, - зачем вам понадобилась моя метрическая выпись?

Жан-Эстер ван Гобсек пожал плечами и, хитро улыбаясь, ответил:

- До чего глупа молодежь! Извольте знать, господин стряпчий, и запомните хорошенько, чтоб вас не провели при случае, -ежели человеку меньше тридцати, то его честность и дарования еще могут служить в некотором роде обеспечением ссуды. А после тридцати уже ни на кого полагаться нельзя.

И он запер за мною дверь.

Три месяца спустя я стал стряпчим, а вскоре после этого мне посчастливилось, сударыня, выиграть тяжбы о возвращении вам вашей недвижимости. Успех этот принес мне некоторую известность. Хотя мне приходилось выплачивать Гобсеку огромные проценты, я через пять лет уже расквитался с ним полностью. Я женился на Фанни Мальво, которую полюбил всей душой. Сходство нашей с нею участи, трудовая жизнь и успехи еще укрепили наше взаимное чувство. Умер один из ее дядьев - разбогатевший фермер, и она получила по наследству семьдесят тысяч франков, это помогло мне расплатиться с Гобсеком. А с тех пор моя жизнь - непрерывное счастье и благополучие. Больше я о себе говорить не буду: счастливый человек-тема нестерпимо скучная. Вернемся к героям моей истории. Спустя год после покупки конторы я однажды, почти против воли, попал на холостяцкую пирушку. Один из моих приятелей давал обед, проиграв пари молодому франту, светскому

льву. Слава господина де Трай, блестящего денди, гремела тогда в салонах...

- Да и теперь еще гремит, - заметил граф де Борн, прерывая стряпчего.Он неподражаемо носит фрак, неподражаемо правит лошадьми, запряженными цугом. А как Максим играет в карты, какой кушает и пьет! Такого изящества манер в целом мире не увидишь. Он знает толк и в скаковых лошадях, и в модных шляпах, и в картинах. Женщины без ума от него. В год он проматывает тысяч сто, однако ж не слыхать, чтобы у него было хоть захудалое поместье или хоть какая-нибудь рента. Это образец странствующего рыцаря нашего времени, - странствует же он по салонам, будуарам, бульварам нашей столицы, это своего рода амфибия, ибо в натуре у него мужских черт столько же, сколько женских. Да, граф Максим де Трай - существо самое странное, на все пригодное и никуда не годное, субъект, внушающий и страх и презрение, всезнайка и круглый невежда, способный оказать благодеяние и совершить преступление, то подлец, то само благородство, бретер, больше испачканный грязью, чем запятнанный кровью, человек, которого могут терзать заботы, но не угрызения совести, которого ощущения занимают сильнее, чем мысли, по виду душа страстная и пылкая, а внутренне холодная, как лед, - блестящее соединительное звено между обитателями каторги и людьми высшего света. Ум у Максима де Трай незаурядный, из таких людей иногда выходят Мирабо, Пипы, Ришелье, но чаще всего - графы де Хорн, Фукье-Тенвили и Коньяры ...

- Так вот, -заговорил Дервиль, внимательно выслушав брата виконтессы, я много слышал об этом человеке от несчастного старика Горио, одного из моих клиентов, и старательно уклонялся от опасной чести познакомиться с ним, когда встречал его в обществе. Но тут мой приятель так настойчиво звал меня на свой пир,

что я не мог отказаться, иначе меня ославили бы ханжой. Вам, сударыня, трудно представить себе, что такое холостяцкий званый обед. Пышность, редкостные блюда, во

всем роскошь, как у скряги, вздумавшего из тщеславия на один день пуститься в мотовство. Войдешь - и глаз оторвать не можешь: какой стройный порядок царит на накрытом столе! Сверкает серебро и хрусталь, снежной белизной блещет камчатная скатерть. Словом, жизнь в цвету. Молодые люди очаровательны, улыбаются, говорят тихо, похожи на женихов под венцом, и все вокруг них сияет девственной чистотой. А через два часа... На столе разгром, как на бранном поле после побоища; повсюду осколки разбитых бокалов, скомканные салфетки; на блюдах искромсанные кушанья, на которые противно смотреть; крик, хохот, шутовские тосты, перекрестный огонь эпиграмм и циничных острот, побагровевшие лица, бессмысленные горящие глаза, разнузданная откровенность душевных излияний. Шум поднимается адский: один бьет бутылки, другой затягивает песню, третий вызывает приятеля на дуэль, а те, глядишь, обнимаются или дерутся. В воздухе стоит отвратительный чад, в котором смешалась целая сотня запахов, и такой рев, как будто кричат сто голосов разом. Никто уже не замечает, что он ест, что пьет и что говорит; один молчит угрюмо, другие болтают без умолку, а кто-нибудь, точно сумасшедший, твердит все одно и то же слово, равномерно гудит, как колокол; другие пытаются командовать этим сумбуром, самый искушенный предлагает поехать в злачные места. Если бы трезвый человек вошел сюда в это время, он, наверное, подумал бы, что попал на вакханалию. И вот в таком диком угаре господин де Трай попытался заручиться моим расположением. Я еще кое-что соображал и держался настороже. Зато он казался вдребезги пьяным, хотя в действительности был в полном рассудке и думал только о своих

делах. Уж не знаю, как это случилось, но он совсем меня околдовал, и в девять часов вечера, выходя из гостиной де Гриньона, я пообещал, что завтра утром свезу его к Гобсеку. Этот златоуст де Трай сумел просто с волшебной ловкостью опутать меня своими речами, ввертывая в них, и всегда очень к месту, такие слова, как "честь", "благородство", "графиня", "порядочная женщина", "добродетель", "несчастье", "отчаяние" и так далее. Утром, проснувшись, я попытался вспомнить, что я наговорил вчера, и с трудом мог собраться с мыслями. Наконец я припомнил, что, кажется, дочь одного из моих клиентов попала в беду и может лишиться доброго имени, уважения и любви супруга, если нынче утром до двенадцати часов не достанет пятидесяти тысяч франков. Тут были замешаны и карточные долги, и счета каретника, и какие-то растраты... Мой обаятельный собутыльник заверял меня, что эта дама довольно богата и за несколько лет сумеет бережливостью возместить урон, который нанесла своему состоянию. И только тут я понял, почему мой приятель так настойчиво приглашал меня к себе. Но, признаюсь, к стыду своему, мне и на ум не приходило, что сам Гобсек был весьма заинтересован в примирении с блистательным денди. Едва я успел встать с постели, явился господин де Трай.

- Граф, - сказал я, когда мы обменялись обычными любезностями, - я, право, не понимаю, зачем вам нужно, чтобы я привел вас к Гобсеку, - ведь он самый учтивый и самый безобидный из всех ростовщиков. Он вам даст денег, если они есть у него, вернее, если вы представите ему достаточные гарантии.

- Господин Дервиль, - ответил де Трай, - я не намерен насильно требовать от вас этой услуги, хотя вчера вы обещали мне оказать ее.

"Гром и молния! - мысленно воскликнул я.- Неужели я дам этому человеку повод думать, будто я не умею

держать слово!" - Вчера я имел честь объяснить вам, что очень некстати поссорился с папашей Гобсеком, - заметил де Трай.- Ведь во всем Париже, кроме него, не найдется такого финансиста, который в конце месяца, пока не подведен баланс, может выложить в одну минуту сотню тысяч. Вот я и попросил вас помирить меня с ним. Но не будем больше говорить об этом...

И господин де Трай, посмотрев на меня с учтиво-оскорбительной усмешкой, направился к двери.

- Я поеду с вами к Гобсеку, - сказал я.

Когда мы приехали на улицу де-Грэ, денди все озирался вокруг с таким странным,

напряженным вниманием, и взгляд его выражал такую тревогу, что я был поражен. Он то бледнел, то краснел, то вдруг желтизна проступала у него на лице, а лишь только он завидел подъезд Гобсека, на лбу у него заблестели капельки пота. Когда мы выскочили из кабриолета, из-за угла на улицу де-Грэ завернул фиакр. Ястребиным своим взором молодой щеголь сразу разглядел в уголке кареты женскую фигуру, на его лице вспыхнула почти звериная радость. Он подозвал проходившего мимо мальчишку и поручил ему подержать лошадь. Мы поднялись по лестнице и вошли к старику дисконтеру.

- Господин Гобсек, - сказал я, - вот я привел к вам одного из самых близких моих друзей. (Бойтесь его, как дьявола, - шепнул я на ухо старику.) Надеюсь, по моей просьбе вы возвратите ему доброе свое расположение (за обычные проценты) и выручите его из беды (если это вам выгодно).

Господин де Трай низко поклонился ростовщику, сел и, приготовляясь выслушать его, принял изящно-угодливую позу царедворца, которая пленила бы кого угодно, но мой Гобсек сидел в кресле у камелька все так же неподвижно, все такой же бесстрастный. Он походил на статую Вольтера в перистиле Французской комедии,

освещенную вечерними огнями. В качестве приветствия он лишь слегка приподнял истрепанный картуз, всегда покрывавший его голову, и мелькнувшая полоска голого черепа, желтого, как старый мрамор, довершила это сходство.

- Деньги у меня есть только для моих постоянных клиентов, - сказал он.

- Так вы, значит, очень разгневались, что я к другим пошел разоряться? - улыбнувшись, отозвался граф.

- Разоряться? - с иронией переспросил Гобсек.

-Вы хотите сказать, что у кого в кармане свистит, тому и разоряться нечего? А вы попробуйте-ка сыскать в Париже человека с таким вот солидным капиталом, как у меня! - воскликнул этот фат и, встав, повернулся на каблуках.

Шутовская его выходка, имевшая почти серьезный смысл, нисколько, однако, не расшевелила Гобсека.

-А кто у меня самые закадычные друзья?-продолжал де Трай. - Госпожа Ронкероль, де Марсе, Франкессини, оба Ванденееа, Ажуда-Пинто -словом, самые блестящие в Париже молодые люди. Я неизменный партнер за карточным столом одного принца и хорошо известного вам посланника. Я собираю доход в Лондоне, в Карлсбаде, в Бадене, в Бате. Великолепный промысел! Разве не верно?

- Верно.

- Вы со мной обращаетесь, как с губкой, черт подери!

Даете мне пропитаться золотом в светском обществе, а в трудную для меня минуту возьмете да выжмете. Но смотрите, ведь и с вами то же самое случится. Смерть и вас выжмет, как губку.

- Возможно.

- Да если б не расточители, что бы вы делали? Мы с вами друг для друг необходимы, как душа и тело.

- Правильно.

- Ну, дайте руку, помиримся, папаша Гобсек. И проявите великодушие, если все это возможно, верно и правильно.

- Вы пришли ко мне, -холодно ответил ростовщик, - только потому, что Жирар, Пальма, Вербруст и Жигонне по горло сыты вашими векселями и всем их навязывают, даже с убытком для себя в пятьдесят процентов. Но выложили-то они вам, по всей вероятности, только половину номинала, значит, векселя ваши и двадцати пяти процентов не стоят. Нет, нет. Слуга покорный! Куда это годится? - продолжал Гобсек.- Разве можно ссудить хоть грош человеку, у которого долгов на триста тысяч франков, а за душой ни сантима? Третьего дня на балу у барона Нусингена вы проиграли в карты десять тысяч.

-Милостивый государь,-ответил граф, с редкостной наглостью смерив его взглядом, - мои дела вас не касаются. Долг платежом красен.

- Верно.

- Мои векселя всегда будут оплачены.

- Возможно.

- И в данном случае весь вопрос сводится для вас к одному: могу я ил и не могу представить вам достаточный залог под ссуду на ту сумму, которую я хотел бы занять?

- Правильно.

С улицы донесся шум подъезжавшего к дому экипажа.

- Сейчас я принесу вам кое-что, и вы, думается мне, будете вполне удовлетворены, - сказал де Трай и выбежал из комнаты.

- О сын мой! - воскликнул Гобсек, вскочив и пожимая мне руку. - Если заклад у него ценный, ты спас мне жизнь! Ведь я чуть не умер! Вербруст и Жигонне вздумали сыграть со мной шутку. Но благодаря тебе я сам нынче вечером посмеюсь над ними.

В радости этого старика было что-то жуткое. Впервые он так ликовал при мне, и, как ни мимолетно было это

мгновение торжества, оно никогда не изгладится из моей памяти.

-Сделайте одолжение, побудьте-ка здесь, -добавил Гобсек.- Хотя при мне пистолеты и я уверен в своей меткости, потому что мне случалось и на тигра ходить и на палубе корабля драться в абордажной схватке не на жизнь, а на смерть, я все-таки побаиваюсь этого элегантного мерзавца.

Он подошел к письменному столу и сел в кресло. Лицо его вновь стало бледным и спокойным.

- Так, так! - сказал он, повернувшись ко мне.- Вы, несомненно, увидите сейчас ту красавицу, о которой я когда-то рассказывал вам. Я слышу в коридоре шаги аристократических ножек.

В самом деле, молодой франт вошел, ведя под руку даму, и я сразу узнал в ней одну из дочерей старика Горио, а по описанию Гобсека, ту самую графиню, в чью опочивальню он проник однажды. Она же сначала не заметила меня, так как я стоял в оконной нише и тотчас повернулся лицом к стеклу.

Войдя в сырую и темную комнату ростовщика, графиня бросила недоверчивый взгляд на Максима де Трай. Она была так хороша, что я, невзирая на все ее прегрешения, пожалел ее. Видно было, что сердце у нее щемит от ужасных мук, и ее гордое лицо с благородными чертами искажала плохо скрытая боль. Молодой щеголь стал ее злым гением. Я подивился прозорливости Гобсека, - уже четыре года назад он предугадал судьбу этих двух людей по первому их векселю. "Вероятно, это чудовище с ангельским лицом, - думал я, - властвует над ней, пользуясь всеми ее слабостями: тщеславием, ревностью, жаждой наслаждений, светской суетностью..,"

-Да и самые добродетели этой женщины, несомненно, были его оружием! воскликнула виконтесса.- Он пользовался ее преданностью, умел разжалобить до

слез, играл на великодушии, свойственном нашему полу, злоупотреблял ее нежностью и очень дорого продавал ей преступные радости...

- Должен вам признаться, - заметил Дервиль, не понимая знаков, которые делала ему госпожа де Гранлье, - я не оплакивал участи этого несчастного создания, пленительного в глазах света и ужасного для тех, кто читал в ее сердце, но я с отвращением смотрел на ее молодого спутника, сущего убийцу, хотя у него было такое ясное чело, румяные, свежие уста, милая улыбка, белоснежные зубы и ангельский облик. Оба они в эту минуту стояли перед своим судьей, а он наблюдал за ними таким взглядом, каким, верно, в шестнадцатом веке старый монах-доминиканец смотрел на пытки каких-нибудь двух мавров в глубоком подземелье святейшей инквизиции.

- Сударь, -заговорила графиня срывающимся голосом, - можно получить вот за эти бриллианты полную их стоимость, оставив, однако, за собою право выкупить их? И она протянула Гобсеку ларчик.

- Можно, сударыня, - вмешался я, выходя из оконной ниши.

Графиня быстро повернулась в мою сторону, вздрогнула, узнав меня, и бросила мне взгляд, который на любом языке означает: "Не выдавайте".

- У нас, юристов, такая сделка именуется "условной продажей, с правом последующего выкупа", и состоит она в передаче движимого или недвижимого имущества на определенный срок, по истечении коего собственность может быть возвращена владельцу при внесении им покупщику обусловленной суммы.

Графиня вздохнула с облегчением. Максим де Трай нахмурился, видимо, опасаясь, что при такой сделке ростовщик даст меньше, ибо ценность бриллиантов неустойчива. Гобсек молча схватил лупу и принялся

рассматривать содержимое ларчика, Проживи я на свете еще сто лет, мне не забыть этой картины. Бледное лицо его разрумянилось, глаза загорелись каким-то сверхъестественным огнем, словно в них отражалось сверкание бриллиантов. Он встал, подошел к окну и, разглядывая драгоценности, подносил их так близко к своему беззубому рту, словно хотел проглотить их. Он бормотал какие-то бессвязные слова, доставал из ларчика то браслеты, то серьги с подвесками, то ожерелья, то диадемы, поворачивал их, определяя чистоту воды, оттенок и грань алмазов, искал, нет ли изъяна. Он вытаскивал их из ларчика, укладывал обратно, опять вынимал, опять поворачивал, чтобы они заиграли всеми таившимися в них огнями. В эту минуту он был скорее ребенком, чем стариком, или, вернее, он был и ребенком и стариком.

-Хороши! Ах, хороши! Такие бриллианты до революции стоили бы триста тысяч! Чистейшей воды! Несомненно, из Индии - из Голконды или из Висапура. Да разве вы знаете им цену! Нет, нет, во всем Париже только Гобсек сумеет их оценить. При Империи запросили бы больше двухсот тысяч, чтобы сделать на заказ такие уборы.- И с досадливым жестом он добавил: - А нынче бриллианты падают в цене, с каждым днем падают! После заключения мира Бразилия наводнила рынок алмазами, хоть они и желтоватой воды, не такие, как индийские. Да и дамы носят теперь бриллианты только на придворных балах. Вы, сударыня, бываете при дворе?

И, сердито бросая эти слова, он с невыразимым наслаждением рассматривал бриллианты один за другим.

- Хорош! Без единого пятнышка! - бормотал он.- А вот на этом точечка! А тут трещинка! А этот красавец! Красавец!

Все его бледное лицо было освещено переливающимися отблесками алмазов, и мне пришли на память в эту

минуту зеленоватые старые зеркала в провинциальных гостиницах, тусклое стекло которых совсем не отражает световых бликов, а смельчаку, дерзнувшему поглядеться в них, преподносит образ человека, умирающего от апоплексического удара.

- Ну так как же? - спросил граф, хлопнув Гобсека по плечу.

Старый младенец вздрогнул. Он оторвался от любимых игрушек, положил их на письменный стол, сел в кресло и вновь стал только ростовщиком, учтивым, но холодным и жестким, как мраморный столб.

- Сколько вы желали бы занять?

- Сто тысяч. На три года, - ответил граф.

- Что ж, можно, - согласился Гобсек, осторожно доставая из шкатулки красного дерева свою драгоценность - неоценимые, точнейшие весы.

Он взвесил бриллианты, определяя на глаз (бог весть как) вес старинной оправы. Во время этой операции лицо его выражало и ликование и стремление побороть его. Графиня словно оцепенела, погрузившись в раздумье; и я порадовался за нее -- мне казалось, что эта женщина увидела вдруг, в какую глубокую пропасть она скатилась. Значит, совесть у нее еще не совсем заглохла, и, может быть, достаточно только некоторого усилия, достаточно лишь протянуть сострадательно руку, чтобы спасти ее. И я сделал попытку.

- Это ваши собственные бриллианты, сударыня? - спросил я.

- Да, сударь, - ответила она, надменно взглянув на меня.

- Пишите акт о продаже с последующим выкупом, болтун, -сказал Гобсек и, встав из-за стола, указал мне рукой на свое кресло.

- Вы, сударыня, вероятно, замужем? -задал я второй вопрос.

Графиня нетерпеливо кивнула головой.

- Я отказываюсь составлять акт! - воскликнул я.

- Почему это? - спросил Гобсек.

- Как "почему"? - возмутился я и, отведя старика к окну, вполголоса сказал: - Замужняя женщина во всем зависит от мужа, сделка будет признана незаконной, а вам не удастся сослаться на свое неведение, раз налицо будет акт. Вам придется предъявить эти бриллианты, так как в акте будут указаны их вес, стоимость и грань.

Гобсек прервал меня кивком головы и повернулся к двум преступникам.

- Он прав. Условия меняются. Восемьдесят тысяч наличными, а бриллианты останутся у меня, -добавил он глухим и тоненьким голоском.- При сделках на движимое имущество собственность лучше всяких актов.

- Но...- заговорил было де Трай.

- Соглашайтесь или берите обратно, - перебил его Гобсек и протянул ларчик графине.- Я не хочу рисковать.

- Гораздо лучше для вас броситься к ногам мужа, - шепнул я графине.

Ростовщик понял по движению моих губ, что я сказал, и бросил на меня холодный взгляд.

Молодой щеголь побледнел как полотно. Графиня явно колебалась. Максим де Трай подошел к ней, и, хотя он говорил очень тихо, я расслышал слова: "Прощай, дорогая Анастази. Будь счастлива. А я... Завтра я уже избавлюсь от всех забот".

- Сударь! - воскликнула графиня, быстро повернувшись к Гобсеку.- Я согласна, я принимаю ваши условия.

- Ну вот и хорошо! - отозвался старик.- Трудно вас уломать, красавица моя.-Он подписал банковский чек на пятьдесят тысяч и вручил его графине.- А вдобавок к этому, - сказал он с улыбкой, очень похожей на

вольтеровскую, - я в счет остальной платежной суммы даю вам на тридцать тысяч векселей, самых бесспорных, самых для вас надежных. Все равно что золотом выложу эту сумму. Граф де Трай только что сказал мне: "Мои векселя всегда будут оплачены", - добавил Гобсек, подавая графине векселя, подписанные графом, опротестованные накануне одним из собратьев Гобсека и, вероятно, проданные ему за бесценок.

Максим де Трай разразился рычанием, в котором явственно прозвучали слова: "Старый подлец!"

Гобсеки бровью не повел, спокойно достал из картонного футляра пару пистолетов и холодно сказал:

- Первый выстрел за мной, по праву оскорбленной стороны.

- Максим, - тихо вскрикнула графиня, - извинитесь! Вы должны извиниться перед господином Гобсеком.

- Сударь, я не имел намерения оскорбить вас, - пробормотал граф.

- Я это прекрасно знаю, - спокойно ответил Гобсек.- В ваши намерения входило только не заплатить по векселям.

Графиня встала и, поклонившись, выбежала, видимо, охваченная ужасом. Графу де Трай пришлось последовать за ней, но на прощанье он сказал:

- Если вы хоть словом обмолвитесь обо всем этом, господа, прольется ваша или моя кровь.

- Аминь! - ответил ему Гобсек, пряча пистолеты.- Чтобы пролить свою кровь, надо ее иметь, милый мой, а у тебя в жилах вместо крови грязь.

Когда хлопнула наружная дверь и оба экипажа отъехали, Гобсек вскочил с места и, приплясывая, закричал:

- А бриллианты у меня! А бриллианты-то мои! Великолепные бриллианты! Дивные

бриллианты! И как дешево достались! А-а, господа Вербруст и Жигонне! Вы думали поддеть старика Гобсека? А я сам вас поддел! Я

все получил сполна! Куда вам до меня! Мелко плаваете! Какие у них глупые будут рожи, когда я расскажу нынешнюю историю между двумя партиями в домино!

Эта свирепая радость, это злобное торжество дикаря, завладевшего блестящими камешками, ошеломили меня. Я остолбенел, онемел.

-Ах, ты еще тут, голубчик! Я и забыл совсем. Мы нынче пообедаем вместе. У тебя пообедаем - я ведь не веду хозяйства, а все эти рестораторы с их подливками да соусами, с их винами - сущие душегубы. Они самого дьявола отравят.

Заметив наконец выражение моего лица, он сразу вернулся к холодной бесстрастности.

- Вам этого не понять, - сказал он, усаживаясь у камина, где стояла на жаровне жестяная кастрюлька с молоком.- Хотите позавтракать со мной? добавил он.- Пожалуй, и на двоих хватит.

- Нет, спасибо, - ответил я. - Я всегда завтракаю в полдень.

В ату минуту в коридоре послышались чьи-то торопливые шаги.

Кто-то остановился у дверей Гобсека и яростно постучал в них. Ростовщик направился к порогу и, поглядев в окошечко, отпер двери. Вошел человек лет тридцати пяти, вероятно, показавшийся ему безобидным, несмотря на свой гневный стук.

Посетитель одет был просто, а наружностью напоминал покойного герцога Ришелье. Это был супруг графини, и вы, вероятно, встречали его в свете: -у него была, прошу извинить меня за это определение, вельможная осанка государственных мужей, обитателей вашего предместья.

- Сударь, - сказал он Гобсеку, к которому вернулось все его спокойствие, - моя жена была у вас?

- Возможно.

- Вы что же, сударь, не понимаете меня?

- Не имею чести знать вашу супругу, - ответил ростовщик.- У меня нынче утром перебывало много народу- мужнины, женщины, девицы, похожие на юношей, и юноши, похожие на девиц. Мне, право, трудно...

-Шутки в сторону, сударь! Я говорю о своей жене. Она только что была у вас.

- Откуда же мне знать, что эта дама- ваша супруга? Я не имел удовольствия встречаться с вами.

- Ошибаетесь, господин Гобсек, - сказал граф с глубокой иронией. - Мы встретились с вами однажды утром в спальне моей жены. Вы приходили взимать деньги по векселю, по которому она никаких денег не получала.

-А уж это не мое дело-разузнавать, какими ценностями ей была возмещена эта сумма, - возразил Гобсек, бросив на графа ехидный взгляд.- Я учел ее вексель при расчетах с одним из моих коллег. Кстати, позвольте заметить вам, граф, - добавил Гобсек без малейшей тени волнения, неторопливо засыпав кофе в молоко, - позвольте заметить вам, что, по моему разумению, вы не имеете права читать мне нотации в собственном моем доме. Я, сударь, достиг совершеннолетия еще в шестьдесят первом году прошлого века.

- Милостивый государь, вы купили у моей жены по крайне низкой цене бриллианты, не принадлежащие ей, - это фамильные драгоценности.

- Я не считаю себя обязанным посвящать вас в тайны моих сделок, но скажу вам, однако, что если графиня и взяла у вас без спросу бриллианты, вам следовало предупредить письменно всех ювелиров, чтобы их не покупали, - ваша супруга могла продать бриллианты по частям.

- Сударь! - воскликнул граф.- Вы ведь знаете мою жену!

- Верно.

- Как замужняя женщина, она подчиняется мужу.

- Возможно.

-Она не имела права распоряжаться бриллиантами!

- Правильно.

- Ну, так как же, сударь?

-А вот как! Я знаю вашу жену, она подчинена мужу, - согласен с вами; ей еще и другим приходится подчиняться, - но ваших бриллиантов я не знаю. Если ваша супруга подписывает векселя, то, очевидно, она может и заключать коммерческие сделки, покупать бриллианты или брать их на комиссию для продажи. Это бывает.

- Прощайте, сударь! - воскликнул граф, бледнея от гнева. - Существует суд.

- Правильно.

- Вот этот господин, - добавил граф, указывая на меня, - был свидетелем продажи.

- Возможно. Граф направился к двери.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, я решил вмешаться и примирить противников.

- Граф, - сказал я, - вы правы, но и господин Гобсек не виноват. Вы не можете привлечь его к суду, оставив вашу жену в стороне, а этим процессом будет опозорена не только она одна. Я стряпчий и, как должностное лицо да и просто как порядочный человек, считаю себя обязанным подтвердить, что продажа произведена в моем присутствии. Но я не думаю, что вам удастся расторгнуть эту сделку как незаконную, и нелегко будет установить, что проданы именно ваши бриллианты. По справедливости вы правы, но по букве закона вы потерпите поражение. Господин Гобсек-человек честный и не станет отрицать, что купил бриллианты очень выгодно для себя, да и я по долгу и по совести засвидетельствую это. Но если вы затеете тяжбу, исход ее крайне сомнителен. Советую вам пойти на мировую с господином Гобсеком. Он ведь может доказать на суде свою добросовестность, а вам все равно придется вернуть сумму, уплаченную им. Согласитесь считать свои бриллианты в закладе на семь, на восемь месяцев, даже на год, если раньше этого срока вы не в состоянии вернуть деньги, полученные графиней. А может быть, вы предпочтете выкупить их сегодня же, представив достаточные для этого гарантии?

Ростовщик преспокойно макал хлеб в кофе и завтракал с полнейшей невозмутимостью, но, услышав слова "пойти на мировую", бросил на меня взгляд, говоривший: "Молодец! Ловко пользуешься моими уроками!" Я ответил ему взглядом, который он прекрасно понял: "Дело очень сомнительное и грязное, надо вам немедленно заключить полюбовное соглашение". Гобсек не мог прибегнуть к запирательству, зная, что я скажу на суде всю правду. Граф поблагодарил меня благосклонной улыбкой. После долгих обсуждений, в которых хитростью и алчностью Гобсек заткнул бы за пояс участников любого дипломатического конгресса, я составил акт, где граф признавал, что получил от Гобсека восемьдесят пять тысяч франков, включая в эту сумму и проценты по ссуде, а Гобсек обязывался при уплате ему всей суммы долга вернуть бриллианты графу.

- Какая расточительность! - горестно воскликнул муж графини, подписывая акт.-Как перебросить мост через эту бездонную пропасть?

- Сударь, много у вас детей? - серьезным тоном спросил Гобсек.

Граф от этих слов вздрогнул, как будто старый ростовщик, словно опытный врач, сразу нащупал больное место. Он ничего не ответил.

- Так, так, - пробормотал Гобсек, поняв его угрюмое молчание.- Я вашу историю наизусть знаю. Эта женщина - демон, а вы, должно быть, все еще любите ее. Понимаю! Она даже и меня в волнение привела. Может быть, вы хотите спасти свое состояние, сберечь его для одного или для двух своих детей? Советую вам: бросьтесь в омут светских удовольствий, играйте для виду в карты, проматывайте деньги да почаще приходите к Гобсеку. В светских кругах будут называть меня жидом, эфиопом, ростовщиком, грабителем, говорить, что я разоряю вас. Мне наплевать! За оскорбление обидчик дорого поплатится! Ваш покорный слуга прекрасно стреляет из пистолета и владеет шпагой. Это всем известно. А еще, советую вам, найдите надежного друга, если можете, и путем фиктивной продажной сделки передайте ему все свое имущество... Как это у вас, юристов, называется? Фидеикомисс, кажется? спросил он, повернувшись ко мне.

Граф был весь поглощен своими заботами и, уходя, сказал Гобсеку:

- Завтра я принесу деньги. Держите бриллианты наготове.

- По-моему, он глупец, как все эти ваши порядочные люди, - презрительно бросил Гобсек, когда мы остались одни.

- Скажите лучше - как люди, захваченные страстью.

- А за составление закладной пусть вам заплатит граф, - сказал Гобсек, когда я прощался с ним.

Через несколько дней после этой истории, открывшей мне мерзкие тайны светской женщины, граф утром явился ко мне.

- Сударь, - сказал он, войдя в мой кабинет, - я хочу посоветоваться с вами по очень важному делу. Считаю своим долгом заявить, что я питаю к вам полное доверие и надеюсь доказать это. Ваше поведение в процессах госпожи де Гранлье выше всяких похвал. (Вот видите, сударыня, - заметил стряпчий, повернувшись к виконтессе,-услугу я оказал вам очень простую, а сколько раз был за это вознагражден...) Я почтительно поклонился графу и ответил, что только выполнил долг честного человека.

- Так вот, сударь. Я тщательно навел справки о том странном человеке, которому вы обязаны своим положением, - сказал граф, - и из всех моих сведений видно, что этот Гобсек - философ из школы циников. Какого вы мнения о его честности?

- Граф, - ответил я, - Гобсек оказал мне благодеяние... Из пятнадцати процентов, - добавил я смеясь. - Но его скупость все же не дает мне права слишком откровенничать о нем с незнакомым мне человеком.

- Говорите, сударь. Ваша откровенность не может повредить ни ему, ни вам. Я отнюдь не надеюсь встретить в лице этого ростовщика ангела во плоти.

-У папаши Гобсека,-сказал я,-есть одно основное правило, которого он придерживается в своем поведении. Он считает, что деньги - это товар, который можно со спокойной совестью продавать, дорого или дешево, в зависимости от обстоятельств. Ростовщик, взимающий большие проценты за ссуду, по его мнению, такой же капиталист, как и всякий другой участник прибыльных предприятий и спекуляций. А если отбросить его финансовые принципы и его рассуждения о натуре человеческой, которыми он оправдывает свои ростовщические ухватки, то я глубоко убежден, что вне этих дел он человек самой щепетильной честности во всем Париже. В нем живут два существа: скряга и философ, подлое существо и возвышенное. Если я умру, оставив малолетних детей, он будет их опекуном. Вот, сударь, каким я представляю себе Гобсека на основании личного своего опыта. Я ничего не знаю о его прошлом. Возможно, он был корсаром; возможно, блуждал по всему свету, торговал бриллиантами или людьми, женщинами или государственными тайнами, но я глубоко уверен, что ни одна душа человеческая не получила такой жестокой закалки в испытаниях, как он. В тот день, когда я принес ему свой долг и расплатился полностью, я с некоторыми риторическими предосторожностями спросил у него: какие соображения заставили его брать с меня огромные проценты и почему он, желая помочь мне, своему другу, не позволил себе оказать это благодеяние совершенно бескорыстно?

"Сын мой, я избавил тебя от признательности, я дал тебе право считать, что ты мне ничем не обязан. И поэтому мы с тобой лучшие в мире друзья". Этот ответ, сударь, лучше всяких моих слов нарисует вам портрет Гобсека.

- Мое решение бесповоротно, - сказал граф.- Потрудитесь подготовить все необходимые акты для передачи Гобсеку прав на мое имущество. И только вам, сударь, я могу доверить составление встречной расписки, в которой он заявит, что продажа является фиктивной, даст обязательство управлять моим состоянием по своему усмотрению и передать его в руки моего старшего сына, когда тот достигнет совершеннолетия. Но я должен сказать вам следующее: я боюсь хранить у себя эту расписку. Мой сын так привязан к матери, что я и ему не решусь доверить этот драгоценный документ. Я прошу вас взять его к себе на хранение. Гобсек на случай своей смерти назначит вас наследником моего имущества. Итак, все предусмотрено.

Граф умолк, и вид у него был очень взволнованный.

- Приношу тысячу извинений, сударь, за беспокойство, - заговорил он наконец, - но я так страдаю, да и здоровье мое вызывает у меня сильные опасения. Недавние горести были для меня жестоким ударом, боюсь, мне недолго жить, и решительные меры, которые я хочу принять, просто необходимы.

- Сударь, - ответил я, - прежде всего позвольте поблагодарить вас за доверие. Но, чтоб оправдать его, я должен указать вам, что этими мерами вы совершенно обездолите... ваших младших детей, а ведь они тоже носят ваше имя. Пускай жена ваша грешна перед вами, все же вы когда-то ее любили, и дети ее имеют право на известную обеспеченность. Должен заявить вам, что я не соглашусь принять на себя почетную обязанность, которую вам угодно на меня возложить, если их доля не будет точно установлена.

Граф вздрогнул, слезы выступили у него на глазах, и он сказал, крепко пожав мне руку:

- Я еще не знал вас как следует. Вы и причинили мне боль, и обрадовали меня. Да, надо определить в первом же пункте встречной расписки, какую долю выделить этим детям.

Я проводил его до дверей моей конторы, и мне показалось, что лицо у него просветлело от чувства удовлетворения справедливым поступком. Вот, Камилла, как молодые женщины могут по наклонной плоскости скатиться в пропасть. Достаточно иной раз кадрили на балу, романса, спетого за фортепьяно, загородной прогулки, чтобы за ними последовало непоправимое несчастье. К нему стремятся сами, послушавшись голоса самонадеянного тщеславия, гордости, поверив иной раз улыбке, поддавшись опрометчивому легкомыслию юности! А лишь только женщина перейдет известные границы, она неизменно попадает в руки трех фурий, имя которых - позор, раскаяние, нищета, и тогда...

- Бедняжка Камилла, у нее совсем слипаются глаза, - заметила виконтесса, прерывая Дервиля.-Ступай, детка, ложись. Нет надобности пугать тебя страшными картинами, ты и без них останешься чистой, добродетельной.

Камилла де Гранлье поняла мать и удалилась.

- Вы зашли немного далеко, дорогой Дервиль, - сказала виконтесса.-Поверенный по делам-это все-таки не мать и не проповедник.

- Но ведь газеты в тысячу раз более...

-Дорогой мой! -удивленно сказала виконтесса. - Я, право, не узнаю вас! Неужели вы думаете, что моя дочь читает газеты? Продолжайте, - добавила она.

- Прошло три месяца после утверждения купчей на имущество графа, перешедшее к Гобсеку...

- Можете теперь называть графа по имени - де Ресто, раз моей дочери тут нет, - сказала виконтесса.

- Прекрасно,-согласился стряпчий.-Прошло много времени после этой сделки, а я все не получал того важного документа, который должен был храниться у меня. В Париже стряпчих так захватывает поток житейской суеты, что они не могут уделить делам своих клиентов больше внимания, чем сами их доверители, - за отдельными исключениями, которые мы умеем делать. Но все же как-то раз, угощая Гобсека обедом у себя дома, я спросил его, не знает ли он, почему ничего больше не слышно о господине де Ресто.

- На то есть основательные причины, - ответил он.- Граф при смерти. Душа у него нежная. Такие люди не умеют совладать с горем, и оно убивает их. Жизнь-это сложное, трудное ремесло, и надо приложить усилия, чтобы научиться ему. Когда человек узнает жизнь, испытав ее горести, фибры сердца у него закалятся, окрепнут, а это позволяет ему управлять своей чувствительностью. Нервы тогда становятся не хуже стальных пружин - гнутся, а не ломаются. А если вдобавок и пищеварение хорошее, то при такой подготовке человек будет живуч и долголетен, как кедры ливанские, действительно великолепные деревья.

- Неужели граф умрет? - воскликнул я.

- Возможно, - заметил Гобсек.- Дело о его наследстве - лакомый для вас кусочек.

Я посмотрел на своего гостя и сказал, чтобы прощупать его намерения:

- Объясните вы мне, пожалуйста, почему из всех людей только граф и я вызвали у вас участие?

- Потому что вы одни доверились мне без всяких хитростей.

Хотя этот ответ позволял мне думать, что Гобсек не злоупотребит своим положением, даже если встречная расписка исчезнет, я все-таки решил навестить фа фа. Сославшись на какие-то дела, я вышел из дому вместе с Гобсеком. На Гельдерскую улицу я приехал очень быстро. Меня провели в гостиную, где графиня играла с младшими своими детьми. Когда лакей доложил обо мне, она вскочила с места, пошла было мне навстречу, потом села и молча указала рукой на свободное кресло у камина. И сразу же она как будто прикрыла лицо маской, под которой светские женщины так искусно прячут свои страсти. От пережитых горестей красота ее уже поблекла, но чудесные черты лица не изменились и свидетельствовали о былом его очаровании.

- У меня очень важное дело к графу: я бы хотел, сударыня, поговорить с ним.

-Если вам это удастся, вы окажетесь счастливее меня, - заметила она, прерывая мое вступление. - Граф никого не хочет видеть, с трудом переносит визиты врача, отвергает все заботы, даже мои. У больных странные причуды. Они, как дети, сами не знают, чего хотят.

- Может быть, наоборот - они, как дети, прекрасно знают, чего хотят?

Графиня покраснела. Я же почти раскаивался, что позволил себе такую реплику в духе Гобсека, и поспешил переменить тему разговора.

- Но как же, - спросил я, - разве можно оставлять больного все время одного?

- Около него старший сын, - ответила графиня.

Я пристально поглядел на нее, но на этот раз она не покраснела; мне показалось, что она твердо решила не дать мне проникнуть в ее тайны.

- Поймите, сударыня, - снова заговорил я, - моя настойчивость вовсе не вызвана нескромным любопытством. Дело касается очень существенных интересов...

И тут же я прикусил язык, поняв, что пошел по неверному пути. Графиня тотчас воспользовалась моей оплошностью.

- Интересы мужа и жены нераздельны. Ничто не мешает вам обратиться ко мне...

- Простите, дело, которое привело меня сюда, касается только графа, возразил я.

- Я прикажу передать о вашем желании поговорить с ним.

Однако учтивый ее тон и любезный вид, с которым она это сказала, не обманули меня-я догадался, что она ни за что не допустит меня к своему мужу.

Мы еще немного поговорили о самых безразличных вещах, и я в это время наблюдал за графиней. Но, как все женщины, составив себе определенный план действий, она скрывала его с редкостным искусством, представляющим собою высшую степень женского вероломства. Страшно сказать, но я всего опасался с ее стороны, даже преступления. Ведь в каждом ее жесте, в ее взгляде, в ее манере держать себя, в интонациях голоса сквозило, что она знает, какое будущее ждет ее. Я простился с нею и ушел... А теперь я расскажу вам заключительные сцены этой драмы, добавив к тем обстоятельствам, которые выяснились со временем, кое-какие подробности, разгаданные проницательным Гобсеком и мною самим. С той поры как граф де Ресто, по видимости, закружился

в вихре удовольствий и принялся проматывать свое состояние, между супругами происходили сцены, скрытые от всех, - они дали графу основание еще больше презирать жену. Когда же он тяжело заболел и слег, проявилось все его отвращение к ней и к младшим детям: он запретил им входить к нему в спальню, и если запрет пытались нарушить, это вызывало такие опасные для его жизни припадки, что сам врач умолял графиню подчиниться распоряжениям мужа. Графиня де Ресто видела, как все семейное состояние-поместья, фермы, даже дом, где она живет, - уплывает в руки Гобсека, казавшегося ей сказочным колдуном, пожирателем ее богатства, и она, несомненно, поняла, что у мужа есть какой-то умысел. Де Трай, спасаясь от ярых преследований кредиторов, путешествовал по Англии. Только он мог бы раскрыть графине глаза, угадав тайные меры, подсказанные графу ростовщиком в защиту от нее. Говорят, она долго не давала свою подпись, а это, по нашим

законам, необходимо при продаже имущества супругов. Но граф все же добился ее согласия. Графиня воображала, что муж обращает свое имущество в деньги и что пачечка кредитных билетов, в которую оно превратилось, хранится в потайном шкафу у какого-нибудь нотариуса или в банке. По ее расчетам, у господина де Ресто должен был находиться на руках документ, который дает старшему сыну возможность защитить свои права на причитающуюся ему долю наследства. Поэтому она решила установить строжайшее наблюдение за спальней мужа. В доме она была полновластной хозяйкой и все подчинила своему женскому шпионству. Весь день она безвыходно сидела в гостиной перед спальней графа, прислушиваясь к каждому его слову, к малейшему движению, а на ночь ей тут же стлали постель, но она не смыкала глаз. Врач был всецело на ее стороне. Ее показная преданность мужу всех восхищала. С прирожденной хитростью вероломного существа она скрывала истинные причины отвращения, которое выказывал ей муж, и так замечательно разыгрывала скорбь, что стала, можно сказать, знаменитостью. Некоторые блюстительницы нравственности даже находили, что она искупила свои грехи. Но все время у нее перед глазами стояли картины нищеты, угрожавшей ей, если она потеряет присутствие духа. И вот эта женщина, изгнанная мужем из комнаты, где он стонал на смертном одре, очертила вокруг него магический круг. Она была и далеко от него и вместе с тем близко, лишена всех прав и вместе с тем всемогуща, притворялась самой преданной супругой, но стерегла час его смерти и свое богатство, словно то насекомое, которое роет в песке норку, изогнутую спиралью, и, притаившись на дне ее, поджидает намеченную добычу, прислушиваясь к падению каждой песчинки. Самому суровому моралисту поневоле пришлось бы признать, что графиня оказалась страстно любящей матерью. Говорят, смерть отца послужила ей уроком. Она обожала детей и стремилась скрыть от них свою беспутную жизнь; нежный их возраст легко позволял это сделать и внушить им любовь к ней. Она дала им превосходное, блестящее образование. Признаюсь, я с некоторым восхищением и жалостью относился к этой женщине, за что Гобсек еще недавно подтрунивал надо мною. В ту пору графиня уже убедилась в подлости Максима де Трай и горькими слезами искупала свои прошлые грехи. Я уверен в этом. Меры, которые она принимала, чтобы завладеть состоянием мужа, конечно, были гнусными, но ведь их внушала ей материнская любовь, желание загладить свою вину перед детьми. Да и очень возможно, что, как многие женщины, пережившие бурю страсти, она теперь искренне стремилась к добродетели. Может быть, только тогда она и узнала ей цену, когда пожала печальную

жатву своих заблуждений. Всякий раз, как ее старший сын, Эрнест, выходил из отцовской комнаты, она подвергала его допросу, хитро выпытывала, что делал граф, что говорил. Мальчик отвечал с большой охотой, приписывая все ее вопросы нежной любви к отцу. Мое посещение всполошило графиню; она увидела во мне орудие мстительных замыслов мужа и решила не допускать меня к умирающему. Я почуял недоброе и горячо желал добиться свидания с господином де Ресто, так как беспокоился о судьбе встречных расписок. Я боялся, что эти документы попадут в руки графини, она может предъявить их, и тогда начнется нескончаемая тяжба между нею и Гобсеком. Я уже хорошо знал характер этого ростовщика и был уверен, что он не отдаст графине имущества, переданного ему графом, а в тексте встречных расписок, которые привести в действие мог только я, имелось много оснований для судебной кляузы. Желая предотвратить это несчастье, я вторично пошел к графине.

- Я заметил, сударыня, - сказал Дервиль виконтессе де Гранлье, принимая таинственный вид, - что существует одно моральное явление, на которое мы в житейской суете не обращаем должного внимания. По своей натуре я склонен к наблюдениям, и в дела, которые мне приходилось вести, особенно если в них разгорались человеческие страсти, всегда как-то невольно вносил дух анализа. И знаете, сколько раз я убеждался в удивительной способности противников разгадывать тайные мысли и намерения друг друга? Иной раз два врага проявляют такую же проницательность, такую же силу внутреннего зрения, как двое влюбленных, читающих в душе друг у друга. И вот, когда мы вторично

остались с графиней с глазу на глаз, я сразу понял, что она ненавидит меня, и угадал почему, хотя она прикрывала свои чувства самой милой обходительностью и радушием. Ведь я оказался случайным хранителем ее тайны, а женщина всегда ненавидит тех, перед кем ей приходится краснеть. Она же догадалась, что если я и был доверенным лицом ее мужа, то все же он еще не успел передать мне свое состояние. Я избавлю вас от пересказа нашего разговора в тот день, замечу лишь, что он остался в моей памяти как одно из самых опасных сражений, которые мне приходилось вести в своей жизни. Эта женщина, наделенная от природы всеми чарами искусительницы, проявляла то уступчивость, то надменность, то приветливость, то доверчивость; она даже пыталась разжечь во мне мужское любопытство, заронить любовь в мое сердце и покорить меня - она потерпела поражение. Когда я собрался уходить, глаза ее горели такой лютой ненавистью, что я содрогнулся. Мы расстались врагами. Ей хотелось уничтожить меня, я же чувствовал к ней жалость, а для таких натур, как она, это равносильно нестерпимому оскорблению. Она почувствовала эту жалость и под учтивой формой последних моих фраз, сказанных на прощанье. Я дал ей понять, что, как бы она ни изощрялась, ее ждет неизбежное разорение, и, вероятно, ужас охватил ее.

- Если б я мог поговорить с графом, то, по крайней мере, судьба ваших детей....

- Нет! Тогда я во всем буду зависеть от вас! - воскликнула она, прервав меня презрительным жестом.

Раз борьба между нами приняла такой открытый характер, я решил сам спасти эту семью от ожидавшей ее нищеты. Для такой цели я готов был, если понадобится, пойти даже на действия, юридически незаконные... И вот что я предпринял. Я возбудил против графа де Ресто иск на всю сумму его фиктивного долга Гобсеку и получил исполнительный лист. Графине, конечно, пришлось скрывать от света судебное решение: оно давало мне право после смерти графа опечатать его имущество. Затем я подкупил одного из слуг в графском доме, и этот человек обещал вызвать меня, когда его хозяин будет отдавать богу душу, хотя бы это случилось в глухую ночь. Я решил приехать неожиданно, запугать графиню угрозой немедленной описи имущества и таким путем спасти документ, хранившийся у графа. Позднее я узнал, что эта женщина рылась в "Гражданском кодексе", прислушиваясь к стонам умирающего мужа. Ужасную картину увидели бы мы, если б могли заглянуть в души наследников, обступающих смертное ложе. Сколько тут козней, расчетов, злостных ухищрений - и все из-за денег! Ну, оставим эти подробности, довольно противные сами по себе, хотя о них нужно было сказать, так как они помогут нам представить себе страдания этой женщины, страдания ее мужа и приоткроют завесу над скрытыми семейными драмами, похожими на их драму. Граф де Ресто два месяца лежал в постели, запершись в спальне, примирившись со своей участью. Смертельный недуг постепенно разрушал его тело и разум. У него появились причуды, которые иногда овладевают больными и кажутся необъяснимыми, - он запрещал прибирать в его комнате, отказывался от всех услуг, даже не позволял перестилать постель. Крайняя его апатия запечатлелась на всем: мебель в комнате стояла в беспорядке, пыль и паутина покрывали даже самые хрупкие, изящные безделушки. Человеку, когда-то богатому и отличавшемуся изысканными вкусами, как будто доставляло удовольствие плачевное зрелище, открывавшееся перед его глазами в этой комнате, где и камин, и письменный стол, и стулья были загромождены предметами ухода за больным, где всюду виднелись грязные пузырьки, с лекарствами или пустые, разбросанное белье, разбитые тарелки, где перед камином валялась грелка без крышки и стояла ванна с невылитой минеральной водой. В каждой мелочи этого безобразного хаоса чувствовалось крушение человеческой жизни. Готовясь удушить человека, смерть проявляла свою близость в вещах. Дневной свет вызывал у графа какой-то ужас, поэтому решетчатые ставни всегда были закрыты, и в полумраке комната казалась еще угрюмее. Больной сильно исхудал. Казалось, только в его блестящих глазах еще теплится последний огонек жизни. Что-то жуткое было в мертвенной бледности его лица, особенно потому, что на впалые щеки падали длинные прямые пряди непомерно отросших волос, которые он ни за что не позволял подстричь. Он напоминал фанатиков-пустынников. Горе угасило в нем все человеческие

чувства; а ведь ему еще не было пятидесяти лет, и было время, когда весь Париж видел его таким блестящим, таким счастливым!

Однажды утром, в начале декабря 1824 года, Эрнест, сын графа, сидел в ногах его постели и с глубокой грустью смотрел на отца. Граф зашевелился и взглянул на него,

- Болит, папа? - спросил Эрнест.

-Нет,-ответил граф с душераздирающей улыбкой.- Все вот тут и вот тут, у сердца!

И он коснулся своей головы исхудалыми пальцами, а потом с таким страдальческим взглядом прижал руку к впалой груди, что сын заплакал.

- Почему же Дервиль не приходит? - спросил граф своего камердинера, которого считал преданным слугой, меж тем как этот человек был всецело на стороне его жены.- Как же это, Морис? - воскликнул умирающий и, приподнявшись, сел на постели; казалось, сознание его стало совершенно ясным.- За последние две недели я раз семь, не меньше, посылал вас за моим поверенным, а его все нет. Вы что, шутите со мной? Сейчас же, сию минуту поезжайте и привезите его! Если вы не послушаетесь, я встану с постели, я сам поеду...

- Графиня, - сказал камердинер, выйдя в гостиную, - вы слышали, что граф сказал? Как же теперь быть?

- Ну, сделайте вид, будто отправляетесь к этому стряпчему, а вернувшись, доложите графу, что он уехал из Парижа за сорок лье на важный процесс. Добавьте, что его ждут в конце недели.

"Больные никогда не верят близости конца. Он будет спокойно дожидаться возвращения поверенного", - думала графиня. Накануне врач сказал ей, что граф вряд ли протянет еще сутки. Через два часа, когда камердинер сообщил графу неутешительное известие, тот пришел в крайнее волнение.

- Господи! - шептал он.- На тебя все мое упование! Он долго глядел на сына и наконец сказал ему:

- Эрнест, мальчик мой, ты еще очень молод, но у тебя чистое сердце, ты поймешь, как свято обещание умирающему отцу... Чувствуешь ли ты себя в силах соблюсти тайну, сохранить ее в душе так крепко, чтобы о ней не узнала даже мать? Во всем доме я теперь только тебе одному верю. Ты не обманешь моего доверия?

- Нет, папа.

- Так вот, Эрнест, я тебе сейчас передам запечатанный конверт; он адресован Дервилю. Сбереги его, спрячь хорошенько, так, чтобы никто не подозревал, что он у тебя. Незаметно выйди из дому и опусти его в почтовый ящик на углу.

- Хорошо, папа.

- Могу я положиться на тебя?

- Да, папа.

- Подойди поцелуй меня. Теперь мне не так тяжело будет умереть, дорогой мой мальчик. Лет через шесть, через семь ты узнаешь, какая это важная тайна, ты будешь вознагражден за свою понятливость и за преданность отцу. И ты увидишь тогда, как я любил тебя. А теперь оставь меня одного на минутку и никого не пускай ко мне.

Эрнест вышел в гостиную и увидел, что там стоит мать.

-Эрнест, - прошептала она,-поди сюда,-Она села и, притянув к себе сына, крепко прижав его к груди, поцеловала с нежностью. - Эрнест, отец сейчас говорил с тобой?

- Да, мама.

- Что ж он тебе сказал?

- Не могу пересказывать это, мама.

-Ах, какой ты у меня славный мальчик! - воскликнула графиня и горячо поцеловала его.- Как я рада, что ты умеешь молчать! Всегда помни два самых главных для человека правила: не лгать и быть верным своему слову.

- Мамочка, какая ты хорошая! Ты-то, уж конечно, никогда в жизни не лгала! Я уверен.

- Нет, Эрнест, иногда я лгала. Я изменила своему слову, но в таких обстоятельствах,

которые сильнее всех законов. Послушай, ты уже большой и умный мальчик, ты, верно, замечаешь, что отец отталкивает меня, гнушается моими заботами. А это несправедливо. Ты ведь знаешь, как я люблю его.

- Да, мама.

- Бедный мой мальчик, - сказала графиня, проливая слезы.- Всему виной злые люди, они оклеветали меня, задались целью разлучить твоего отца со мною, оттого что они корыстные, жадные. Они хотят отнять у нас все наше состояние и присвоить себе. Если б отец был здоров, наша размолвка скоро бы миновала, он добрый, он любит меня, он понял бы свою ошибку. Но болезнь помрачила его рассудок, предубеждение против меня превратилось у него в навязчивую мысль, в какое-то безумие. И он вдруг стал выражать тебе предпочтение перед всеми детьми, - это тоже доказывает умственное его расстройство. Ведь ты же не замечал до его болезни, чтоб он Полину и Жоржа любил меньше, чем тебя. Все теперь зависит у него от болезненных капризов. Его нежность к тебе могла внушить ему странные замыслы.

Скажи, он дал тебе какое-нибудь распоряжение? Ангел мой, ведь ты не захочешь разорить брата и сестру, ты не допустишь, чтобы твоя мама, как нищенка, молила о куске хлеба! Расскажи мне все...

- А-а! - закричал граф, распахнув дверь.

Он стоял на пороге полуголый, иссохший, худой, как скелет. Сдавленный его крик потряс ужасом графиню, она остолбенела, глядя на мужа; этот изможденный, бледный человек казался ей выходцем из могилы,

- Вам мало, что вы всю жизнь мою отравили горем, вы мне не даете умереть спокойно, вы хотите развратить душу моего сына, сделать его порочным человеком! - кричал он слабым, хриплым голосом.

Графиня бросилась к ногам умирающего, страшного, почти уродливого в эту минуту последних волнений жизни; слезы текли по ее лицу.

- Пожалейте! Пожалейте меня! - стонала она.

-А вы меня жалел и?-спросил граф.-Я дозволил вам промотать все ваше состояние, а теперь вы хотите и мое состояние пустить по ветру, разорить моего сына!

-Хорошо! Не щадите, губите меня! Детей пожалейте! -молила она.-Прикажите, и я уйду в монастырь на весь свой вдовий век. Я подчинюсь, я все сделаю, что вы прикажете, чтобы искупить свою вину перед вами. Но дети!.. Пусть хоть они будут счастливы... Дети, дети!..

- У меня только один ребенок! - воскликнул граф, в отчаянии протягивая иссохшие руки к сыну.

- Прости! Я так раскаиваюсь, так раскаиваюсь! - вскрикивала графиня, обнимая худые и влажные от испарины ноги умирающего мужа, рыдания не давали ей говорить, горло перехватывало, у нее вырывались только невнятные слова.

- Вы раскаиваетесь?! Как вы смеете произносить это слово после того, что сказали сейчас Эрнесту!-ответил умирающий и оттолкнул ее ногой.

Она упала на пол.

- Озяб я из-за вас, - сказал он с каким-то жутким равнодушием.- Вы были плохой дочерью, плохой женой, вы будете плохой матерью...

Несчастная женщина лишилась чувств. Умирающий добрался до постели, лег и через несколько часов потерял сознание. Пришли священники причастить его. В полночь он скончался. Объяснение с женой лишило его последних сил. Я приехал в полночь вместе с Гобсеком. Благодаря смятению в доме мы без помехи прошли в маленькую гостиную, смежную со спальней покойного, и увидели плачущих детей; сними были два священника, оставшиеся, чтобы провести ночь возле тела. Эрнест подошел ко мне и сказал, что его мать пожелала побыть одна в комнате умершего.

- Не входите туда! - сказал он, и меня восхитили его тон и жест, который сопровождал эти слова.- Она молится...

Гобсек засмеялся характерным своим беззвучным смехом, но меня так взволновало

скорбное и негодующее выражение лица этого юноши, что я не мог разделять иронии старого ростовщика. Увидев, что мы все-таки направились к двери, мальчик подбежал к порогу и, прижавшись к створке, крикнул:

- Мама, к тебе пришли эти гадкие люди!

Гобсек отбросил его, точно перышко, и отворил дверь. Какое зрелище предстало перед нами! В комнате был подлинный разгром. Графиня стояла неподвижно, растрепанная, с выражением отчаяния на лице, и растерянно смотрела на нас сверкающими глазами, а вокруг нее разбросано было платье умершего, бумаги, скомканные тряпки. Ужасно было видеть этот хаос возле смертного ложа. Лишь только граф испустил дыхание, его жена взломала все шкафы, все ящики письменного стола, и ковер вокруг нее густо устилали обрывки разодранных

писем, шкатулки были сломаны, портфели разрезаны - везде шарили ее дерзкие руки. Возможно, ее поиски сначала были бесплодными, но сама ее поза, ее волнение навели меня на мысль, что в конце концов она обнаружила таинственные документы. Я бросил взгляд на постель и чутьем, развившимся в привычных стряпчему делах, угадал все, что произошло. Труп графа де Ресто лежал ничком, головой к стене, свесившись за кровать, презрительно отброшенный, как один из тех конвертов, которые валялись на полу, ибо и он теперь был лишь ненужной оболочкой. Его окоченевшее тело, раскинувшее руки и ноги, застыло в ужасной и нелепой позе. Несомненно, умирающий прятал встречную расписку под подушкой, надеясь, что таким способом он до последней своей минуты убережет ее от посягательства. Графиня догадалась, где хранились бумаги, да, впрочем, это можно было понять и по жесту мертвой руки с закостеневшими скрюченными пальцами. Подушка была сброшена, и на ней еще виднелся след женского ботинка. А на ковре, у самых ног графини, я увидел разорванный пакет с гербовыми печатями графа. Я быстро подобрал этот пакет и прочел сделанную на нем надпись, указывающую, что содержимое его должно быть передано мне. Я посмотрел на графиню пристальным, строгим взглядом, как следователь, допрашивающий преступника.

В камине догорали листы бумаги. Услышав, что мы пришли, графиня бросила их в огонь, ибо увидела в первых строках имущественных распоряжений имена своих младших детей и вообразила, что уничтожает завещание, лишающее их наследства, меж тем как наследство им обеспечивалось по моему настоянию. Смятение чувств, невольный ужас перед совершенным преступлением помрачили ее рассудок. Она видела, что поймана с поличным; быть может, перед глазами ее

возник эшафот, и она уже чувствовала, как палач выжигает ей клеймо раскаленным железом. Она молчала и, тяжело дыша, глядела на нас безумными глазами, выжидая наших первых слов.

-Что вы наделали!-воскликнул я, выхватив из камина клочок бумаги, еще не тронутый огнем.- Вы разорили своих детей! Ведь эти документы обеспечивали им состояние...

Рот у графини перекосился, казалось, с ней вот-вот случится удар,

-Хе-хе! -проскрипел Гобсек, и возглас этот напоминал скрип медного подсвечника, передвинутого по мрамору.

Помолчав немного, старик сказал мне спокойным тоном:

- Уж не думаете ли вы внушить графине мысль, что я не являюсь законным владельцем имущества, проданного мне графом? С этой минуты дом его принадлежит мне.

Меня точно обухом по голове ударили, я онемел от мучительного изумления. Графиня подметила удивленный взгляд, который я бросил на ростовщика.

- Сударь! Сударь!- бормотала она, не находя других слов.

- У вас фидеикомисс? - спросил я Гобсека.

- Возможно.

- Вы хотите воспользоваться преступлением графини?

- Верно.

Я направился к двери, а графиня, упав на стул у постели покойника, залилась горючими

слезами. Гобсек пошел за мною следом. На улице я молча повернул в другую сторону, но он подошел ко мне и, бросив на меня глубокий взгляд, проникавший в самую душу, крикнул тоненьким пронзительным голоском:

- Ты что, судить меня берешься? С этого дня мы виделись редко. Особняк графа Гобсек сдал внаймы; лето проводил по-барски в его поместьях, держал себя там хозяином, строил фермы, чинил мельницы и дороги, сажал деревья. Однажды я встретился с ним в одной из аллей Тюильри.

- Графиня ведет жизнь просто героическую, - сказал я ему.- Она всецело посвятила себя детям, дала им прекрасное воспитание и образование. Старший ее сын - премилый юноша.

- Возможно.

- Послушайте, разве вы не обязаны помочь Эрнесту?

- Помочь Эрнесту?-переспросил Гобсек.- Нет, нет! Несчастье - лучший учитель. В несчастье он многому научится, узнает цену деньгам, цену людям и мужчинам и женщинам. Пусть поплавает по волнам парижского моря. А когда станет искусным лоцманом, мы его в капитаны произведем.

Я простился с ним, не желая вникать в смысл этих загадок. Хотя мать внушила господину де Ресто отвращение ко мне и он совсем не склонен был обращаться ко мне за советами, я на прошлой неделе пошел к Гобсеку, решив рассказать ему о любви Эрнеста к Камилле и поторопить его выполнить свои обязательства, так как молодой граф скоро достигнет совершеннолетия. Старика я застал в постели: он уже давно был болен и доживал последние дни. Мне он сказал, что даст ответ, когда встанет на ноги и будет в состоянии заниматься делами, - несомненно, он не желал расставаться с малейшей частицей своих богатств, пока еще в нем тлеет хоть искра жизни. Другой причины отсрочки не могло быть. Я видел, что он болен гораздо серьезнее, чем это казалось ему самому, и довольно долго пробыл у него - мне хотелось посмотреть, до каких пределов дошла его жадность, превратившаяся на пороге смерти в какое-то сумасшествие. Не желая видеть по соседству посторонних людей, он теперь снимал весь дом, жил в нем один, а все комнаты пустовали. В его спальне все

было по-старому. Ее обстановка, хорошо мне знакомая, нисколько не изменилась за шестнадцать лет - каждая вещь как будто сохранялась под стеклом. Все та же привратница, преданная ему старуха, по-прежнему состояла его доверенным лицом, вела его хозяйство, докладывала о посетителях, а теперь, в дни болезни, ухаживала за ним, оставляя своего мужа-инвалида стеречь входную дверь, когда поднималась к хозяину. Гобсек был очень слаб, но все же принимал еще некоторых клиентов, сам получал доходы, но так упростил свои дела, что для управления ими вне стен комнаты ему достаточно было изредка посылать с поручениями инвалида. При заключении договора, по которому Франция признала Республику Гаити, Гобсека назначили членом комиссии по оценке и ликвидации владений французских подданных в этой бывшей колонии и для распределения между ними сумм возмещения убытков, ибо он обладал большими сведениями по части старых поместий в Сан-Доминго, их собственников и плантаторов. Изобретательность Гобсека тотчас подсказала ему мысль основать посредническое агентство по реализации претензий бывших землевладельцев и их наследников, и он получал доходы от этого предприятия наравне с официальными его учредителями, Вербрустом и Жигонне, не вкладывая никаких капиталов, так как его познания являлись сами по себе достаточным вкладом. Агентство действовало не хуже перегонного куба, вытягивая прибыли из имущественных претензий людей несведущих, недоверчивых или знавших, что их права являются спорными. В качестве ликвидатора Гобсек вел переговоры с крупными плантаторами, и каждый из них, стремясь повысить оценку своих земель или поскорее утвердиться в правах, делал ему подарки сообразно своему состоянию. Взятки эти представляли нечто вроде учетного процента, возмещавшего Гобсеку доходы с тех долговых обязательств, которые ему не удалось захватить; затем через агентство он скупал по дешевке обязательства на мелкие суммы, а также те обязательства, владельцы которых спешил и реализовать их, предпочитая получить

немедленно хотя бы незначительное возмещение, чем ждать постепенных и ненадежных платежей Республики. В этой крупной афере Гобсек был ненасытным удавом. Каждое утро он получал дары и алчно разглядывал их, словно министр какого-нибудь набоба, обдумывающий, стоит ли за такую цену подписывать помилование. Гобсек принимал все, начиная от корзинки с рыбой, преподнесенной каким-нибудь бедняком, и кончая пачками свечей - подарком людей скуповатых, брал столовое серебро от богатых людей и золотые табакерки от спекулянтов. Никто не знал, куда он девал эти подношения. Все доставляли ему на дом, но ничего оттуда не выносили.

- Ей-богу, по совести скажу, -уверяла меня привратница, моя старая знакомая, - сдается мне, он все это глотает, да только не на пользу себе исхудал, высох, почернел, будто кукушка на моих стенных часах.

Но вот в прошлый понедельник Гобсек прислал за мной инвалида, и тот, войдя ко мне в кабинет, сказал:

- Идемте скорее, господин Дервиль. Хозяин последний счет подводит, пожелтел, как лимон, торопится поговорить с вами. Смерть уж за глотку его схватила, в горле хрип клокочет.

Войдя в комнату умирающего, я, к удивлению своему, увидел, что он стоит на коленях у камина, хотя там не было огня, а только большая куча золы. Он слез с кровати и дополз до камина, но ползти обратно уже не был о у него сил и не было голоса позвать на помощь.

- Старый друг мой, - сказал я, подняв его и помогая ему добраться до постели.- Вам холодно? Почему вы не велите затопить камин?

-Мне вовсе нехолодно, -сказал он.-Не надо топить, не надо! Я ухожу, голубчик, - промолвил он, помолчав, и бросил на меня угасший, тусклый взгляд.-Куда ухожу, не знаю, но ухожу отсюда. У меня уж карфология* началась, - добавил он, употребив медицинский термин, что указывало на полную ясность сознания - Мне вдруг почудилось, будто по всей комнате золото катится, и я встал, чтобы подобрать его. Куда ж теперь все мое добро пойдет? Казне я его не оставлю; я завещание написал. Найди его, Греции. У Прекрасной Голландки осталась дочь. Я как-то раз встретил ее вечером на улице Вивьен. Хорошенькая, как купидон. У нее прозвище - Огонек. Разыщи ее, Гроций. Я тебя душеприказчиком назначил. Бери тут все, что хочешь, кушай, еды у меня много. Паштеты из гусиной печенки есть, мешки кофе, сахару. Ложки есть золотые. Возьми для своей жены сервиз работы Одно. А кому же бриллианты? Ты нюхаешь табак, голубчик? У меня много табака, разных сортов. Продай его в Гамбург, там в полтора раза дороже дадут. Да, все у меня есть, и со всем надо расстаться. Ну, ну, папаша Гобсек, не трусь, будь верен себе...

Он приподнялся на постели; его лицо четко, как бронзовое, вырисовывалось на белой подушке. Протянув иссохшие руки, он вцепился костлявыми пальцами в одеяло, будто хотел за него удержаться, взглянул на камин, такой же холодный, как его металлический взгляд, и умер в полном сознании, явив своей привратнице, инвалиду и мне образ настороженного внимания, подобно тем старцам Древнего Рима, которых Летьер изобразил позади консулов на своей картине "Смерть детей Брута".

*Карфология - бессознательное движение рук у умирающего.

- Молодцом рассчитался, старый сквалыга! - по-солдатски отчеканил инвалид.

А у меня все еще звучало в ушах фантастическое перечисление богатств, которое я слышал от умершего, и я невольно посмотрел на кучу золы в камине, увидев, что к ней устремлены его застывшие глаза. Величина этой кучи поразила меня. Я взял каминные щипцы и, сунув их в золу, наткнулся на что-то твердое, - там лежала груда золота и серебра, вероятно, его доходы за время болезни. У него уже не было сил припрятать их получше, а недоверчивость не позволяла отослать все это в банк.

- Бегите к мировому судье! - сказал я инвалиду.- Надо тут немедленно все опечатать.

Вспомнив поразившие меня последние слова Гобсека и то, что мне говорила привратница, я взял ключи от комнат обоих этажей и решил осмотреть их. В первой же комнате, которую я отпер, я нашел объяснение его речам, казавшимся мне бессмысленными,

и увидел, до чего может дойти скупость, превратившаяся в безотчетную, лишенную всякой логики страсть, примеры которой мы так часто видим в провинции. В комнате, смежной со спальней покойного, действительно оказались и гниющие паштеты, и груды всевозможных припасов, даже устрицы и рыба, покрывшаяся пухлой плесенью. Я чуть не задохся от смрада, в котором слились всякие зловонные запахи. Все кишело червями и насекомыми. Подношения, полученные недавно, лежали вперемешку с ящиками различных размеров, с цибиками чаю и мешками кофе. На камине в серебряной суповой миске хранились накладные различных грузов, прибывших на его имя в портовые склады Гавра: тюки хлопка, ящики сахара, бочонки рома, кофе, индиго, табака - целого базара колониальных товаров! Комнату загромождала дорогая мебель, серебряная утварь, лампы, картины, вазы, книги, превосходные гравюры без рам, свернутые трубкой, и самые разнообразные редкости. Возможно, что не вся эта груда ценных вещей состояла из подарков-многие из них, вероятно, были невыкупленными закладами. Я видел там ларчики с драгоценностями, украшенные гербами и вензелями, прекрасные камчатные скатерти и салфетки, дорогое оружие, но без клейма. Раскрыв какую-то книгу, казалось, недавно вынимавшуюся из стопки, я обнаружил в ней несколько банковских билетов по тысяче франков. Тогда я решил внимательно осмотреть каждую вещь, вплоть до самых маленьких, все перевернуть, исследовать половицы, потолки, стены, карнизы, чтобы разыскать золото, к которому питал такую алчную страсть этот голландец, достойный кисти Рембрандта. Никогда еще в своей юридической практике я не встречал такого удивительного сочетания скупости со своеобразием характера. Вернувшись в спальню умершего, я нашел на его письменном столе разгадку постепенного скопления всех этих богатств. Под пресс-папье лежала переписка Гобсека с торговцами, которым он обычно продавал подарки своих клиентов. Но оттого ли, что купцы не раз оказывались жертвами уловок Гобсека, или оттого, что он слишком дорого запрашивал за съестные припасы и вещи, ни одна сделка не состоялась. Он не желал продавать накопившуюся у него снедь в магазин Шеве, потому что Шеве требовал тридцатипроцентной скидки. Он торговался из-за нескольких франков, а в это время товар портился. Серебро не было продано, потому что Гобсек отказывался брать на себя расходы по доставке. Мешки кофе залежались, так как он не желал скинуть на утруску. Словом, каждый предмет сделки служил ему поводом для бесконечных споров-несомненный признак, что он уже впал в детство и проявлял то дикое упрямство, что развивается у всех стариков, одержимых какой-либо страстью,

переживший у них разум. И я задал себе тот же вопрос, который слышал от него: кому же достанется все это богатство?.. Вспомнив, какие странные сведения он дал мне о своей единственной наследнице, я понял, что мне придется вести розыски во всех злачных местах Парижа и отдать огромное богатство в руки какой-то непотребной женщины. Но прежде всего знайте, что в силу совершенно бесспорных документов граф Эрнест де Ресто на днях вступит во владение состоянием, которое позволит ему жениться на мадемуазель Камилле да еще выделить достаточный капитал матери и брату, а сестре приданое.

-Хорошо, дорогой Дервиль, мы подумаем,-ответила госпожа де Гракльe.Господину де Ресто нужно быть очень богатым, чтобы такая семья, как наша, согласилась породниться с его матерью. Не забывайте, что мой сын рано или поздно станет герцогом де Гранльe и объединит состояние двух ветвей нашего рода. Я хочу, чтобы зять был ему под пару.

- А вы знаете, - спросил граф де Борн, - какой герб у Ресто? Четырехчастное червленое поле с серебряной полосой и черными крестами. Очень древний герб.

- Это верно, - подтвердила виконтесса, - к тому же Камилла может и не встречаться со своей свекровью, нарушительницей девиза на этом гербе - Res tuta*.

- Госпожа де Босеан принимала у себя графиню де Ресто, - заметил старик дядюшка.

- О, только на раутах! - возразила виконтесса.

* Res tuta(лат.) - надежность.